

Кнут Гамсун

Голод

1

Это было в те дни, когда я бродил голодный по Христиании, этому удивительному городу, который навсегда накладывает на человека свою печать...

Я лежу без сна у себя на чердаке и слышу, как часы внизу бьют шесть; уже совсем рассвело, началась беготня вверх и вниз по лестнице. У двери стена моей комнаты оклеена старыми номерами «Утренней газеты», и я четко вижу объявление смотрителя маяка, а чуть левее – жирную, огромную рекламу булочника Фабиана Ольсена, расхваливающую свежеиспеченный хлеб.

Едва открыв глаза, я по старой привычке начал подумывать, чему бы мне порадоваться сегодня. В последнее время жилось мне довольно трудно; мои пожитки помаленьку перекочевали к «Дядюшке Живодеру», я стал нервен и раздражителен, несколько дней мне пришлось даже пролежать в постели из-за головокружения. Временами, когда везло, мне удавалось получить пять крон за статейку в какой-нибудь газете.

Становилось все светлей, и я принялся читать объявления у двери; я даже мог разобрать тощие, похожие на оскаленные зубы буквы, которые возвещали, что «у йомфру Андерсен, в подворотне направо, можно приобрести самый лучший саван». Это объявление долго занимало меня, и когда я, встав, начал одеваться, часы внизу пробили восемь.

Я открыл окно и выглянул во двор. Мне видна была веревка для сушки белья и пустырь; в отдалении чернел скелет сгоревшей кузницы, где возились какие-то люди, разгребая угли. Я облокотился о подоконник и смотрел вдаль. Без сомнения, день будет ясный. Пришла осень, дивная, прохладная пора, все меняет цвет, увядает. На улицах уже поднялся шум, он манит меня выйти из дому; пустая комната, где половицы стонали от каждого моего шага, походила на трухлявый, отвратительный гроб; здесь не было ни порядочного замка на двери, ни печки; по ночам я обыкновенно клал носки под себя, чтобы они хоть немного высохли к утру. Единственным моим утешением была маленькая красная качалка, в которой я сидел вечерами, подремывал и думал о всякой всячине. Когда поднимался сильный ветер и входная дверь внизу бывала открыта, пол и стены пронзительно стонали на все лады, а в «Утренней газете» у двери появлялись щели длиной с мою руку.

Я отошел от окна и принялся искать в узелке, что лежал в углу, подле кровати, чем бы позавтракать, но ничего не нашел и снова вернулся к окну.

«Бог весть, – думал я, – удастся ли мне вообще приискать себе занятие!» Столько было отказов, полуобещаний, решительных «нет», взлелеянных и обманутых надежд, новых и новых попыток, которые всякий раз кончались ничем, что я совсем утратил решимость. Наконец я попытался поступить в кассиры, но опоздал; и кроме того, я не мог бы внести залога в пятьдесят крон. Вечно мне что-либо мешало. А еще я просился в пожарную команду. Нас там стояло с полсотни человек, и каждый выпячивал грудь, чтобы произвести впечатление силача и редкого смельчака. Меж нами расхаживал наниматель, осматривал претендентов, щупал мускулы, расспрашивал, а проходя мимо меня, только головой покачал да обронил, что люди в очках для этого дела не годятся. Я пришел снова уже без очков и стоял, насупившись, стараясь придать своему взгляду остроту ножа, но он снова прошел мимо меня и только улыбнулся, потому что узнал меня. В довершение всех зол, мое платье износилось до такой степени, что я уже не казался работодателям приличным человеком.

Как медленно и неуклонно катился я под гору! Под конец у меня не осталось решительно ничего, даже гребенки или хотя бы книжки, которой я утешился бы в грустную

минуту. Летом я всякий день уходил куда-нибудь на кладбище или в парк, где стоит замок, сидел там и писал статьи для газет, столбец за столбцом, и чего только не было в этих статьях, сколько удивительных выдумок, причуд, капризов моей беспокойной фантазии! Отчаявшись, я брал самые отвлеченные темы, эти статьи я сочинял много мучительных часов, и никто не хотел их печатать. Закончив одну, я тотчас принимался за другую и редко приходил в уныние от редакторского отказа. Я старался убедить себя, что когда-нибудь мне повезет. И действительно, по временам, когда счастье мне улыбалось и я сочинял что-нибудь путное, мне платили пять крон за работу, которая отнимала полдня.

Я снова оторвался от окна, подошел к умывальнику и смочил водой колени своих лоснившихся брюк, чтобы они казались черными и стали как будто новее. Сделав это, я, по обыкновению, сунул в карман бумагу и карандаш и вышел за дверь. По лестнице я спустился тихонько, чтобы не привлечь внимания хозяйки; срок уплаты за квартиру истек несколько дней назад, а платить мне было нечем.

Пробило девять часов. Грохот экипажей и людские голоса витали в воздухе – то был стоустый утренний хор, раздававшийся под стук шагов пешеходов и щелканье извозчичьих кнутов. Это шумное движение тотчас оживило меня, и я стал чувствовать себя уверенней. Менее всего я собирался просто вот так гулять с утра на свежем воздухе. На что был моим легким воздух? Я чувствовал себя неодолимым, как исполин, мог упереться плечом в повозку и остановить ее. Мной овладело удивительное, чудесное чувство, какое-то светлое удовлетворение. Я смотрел на встречных, читал вывески на домах, ловил на лету взгляды, брошенные на меня из пронесившихся мимо карет, замечал всякую мелочь, не упускал ни малейшей случайности, что попадалась мне на пути и сразу же исчезала.

Какой дивный денек, вот бы еще поесть хоть немного! Я проникся этим радостным утром, счастье переполняло меня, и я вдруг, ни с того ни с сего, принялся напевать. Возле мясной лавки стояла женщина с корзинкой и выбирала колбасу к обеду; когда я проходил мимо, она взглянула на меня. Из рта у нее торчал лишь один зуб. В последние дни я стал таким нервным и впечатлительным, что лицо этой женщины показалось мне отвратительным; длинный, желтый зуб походил на мизинец, торчащий изо рта, а когда она подняла на меня глаза, взгляд ее еще был полон мыслей о колбасе. Мне сразу расхотелось есть, тошнота подкатила к горлу. Дойдя до рынка, я напился воды из-под крана; потом поднял голову и взглянул на колокольню храма Спасителя – часы показывали десять.

Я долго еще бродил по городу, ни о чем не думая, потом безо всякой надобности постоял на каком-то углу и свернул на боковую улицу, хотя у меня не было там никакого дела. Я плыл по течению, купался в радостном утре, беззаботно расхаживал среди других веселых людей; воздух был чист и ясен, душу мою не омрачало ничто.

Минут десять впереди меня шел хромой старик. В одной руке он нес узел, и все тело его напрягалось от усилий ускорить шаг. Я слышал, как тяжело он дышал, и подумал, что мог бы понести его узел; однако я не попытался догнать его. Близ Гренсена я встретил Ханса Паули, он поклонился и быстро прошел мимо. Почему он так спешил? Ведь я и не думал выпрашивать у него крону, я даже хотел при первой возможности вернуть ему одеяло, которое взял у него несколько недель назад. Как только я мало-мальски выкарабкаюсь, никто не сможет сказать, что я не отдал одеяла; пожалуй, еще сегодня начну писать статью о роли преступлений в будущем, или о свободе воли, или вообще о чем-нибудь важном, и получу за нее по меньшей мере десять крон... Я вдруг почувствовал потребность немедленно приняться за дело, потому что мысли переполняли меня; я решил отыскать подходящее местечко в парке и даже не помышлять об отдыхе, покуда статья не будет кончена.

Но старый калека все так же шел впереди меня, уродливо напрягаясь на ходу. В конце концов меня стало раздражать, что старик все время идет передо мною. Казалось, этому не будет конца; может быть, он шел как раз туда же, куда и я, а если так, он все время будет маячить у меня перед глазами. Я так разволновался, что мне казалось, будто на каждом перекрестке он замедляет шаг и как бы ждет, куда я поверну, а потом он вскидывал свой узел повыше и прибавлял шагу, чтобы опередить меня. Я иду, всматриваюсь в этого несчастного

калеку и проникаюсь все большим и большим ожесточением против него; я чувствую, как он мало-помалу портит мое радостное настроение и вместе с тем как бы омрачает чистое, прекрасное утро своим уродством. Он был похож на огромное искалеченное насекомое, которое упорно и настойчиво стремится куда-то и занимает собою весь тротуар. Когда мы поднялись на холм, я не пожелал больше терпеть это и остановился у витрины, дожидаясь, покуда он уйдет. Когда через несколько минут я двинулся дальше, этот человек снова оказался впереди меня, – он тоже останавливался. Не долго думая, я в три-четыре больших шага настиг его и хлопнул по плечу.

Он остановился как вкопанный. Мы пристально посмотрели друг на друга.

– Подайте, сколько можете, на молоко! – сказал он наконец и склонил голову набок.

Ну вот, в хорошенькое я попал положение! Я пошарил в карманах и сказал:

– Ах, на молоко... Гм!.. Но ведь в наше время деньги на улице не валяются, а я не знаю, крайняя ли у вас нужда.

– Я не ел со вчерашнего дня, как ушел из Драммена, – сказал он. – У меня нет ни эре, и я еще не нашел работы.

– Вы ремесленник?

– Да, я скорняк.

– Как?

– Скорняк. Впрочем, умею еще шить сапоги.

– Это меняет дело, – сказал я. – Погодите-ка здесь минутку, а я сбегая за деньгами и дам вам несколько эре.

Я что было духу побежал на Пилестредет, где в одном из домов, на втором этаже, жил ростовщик; впрочем, мне еще не приходилось у него бывать. Войдя в подворотню, я быстро снял жилет, свернул его и сунул под мышку; потом поднялся по лестнице и постучал в дверь. Войдя, я поклонился и бросил жилет на прилавок.

– Полторы кроны, – сказал ростовщик.

– Хорошо, благодарю вас, – отвечал я. – Не будь он для меня слишком узок, я, конечно, не расстался бы с ним.

Взяв деньги и квитанцию, я отправился назад. В сущности, это была великолепная мысль – заложить жилет; ведь у меня еще останутся деньги на плотный завтрак, а к вечеру будет готова моя статья о роли преступлений в будущем. Мне сразу стало казаться, что жизнь не так уж мрачна, и я поспешил к старику, чтобы избавиться от него.

– Пожалуйста! – сказал я ему. – Счастлив, что вы первым делом обратились ко мне.

Он взял деньги и начал меня разглядывать. Чего он на меня уставился? Мне показалось, что он особенно пристально глядит на мои колени, и его бесстыдство меня взбесило. Неужели этот бродяга думает, что, если я так одет, меня можно почитать за нищего? Ведь я уже почти начал писать статью за десять крон. И вообще будущее мне не страшно, на мою долю хватит. Что тут такого, если в этот ясный день я дал немного денег незнакомому человеку? Его взгляд мне не нравился, и я решил, прежде чем уйти, сделать ему внушение. Я пожал плечами и сказал:

– Любезный, у вас отвратительная привычка таращить глаза на колени человека, который дал вам целую крону.

Он прислонился к стене, закинул голову и разинул рот. В мозгах этого нищего шевелилась какая-то мысль, он, конечно, подумал, что я хочу как-нибудь над ним посмеяться, и протянул мне деньги обратно.

Я стал топтать ногами и требовать, чтобы он оставил деньги у себя. Уж не думает ли он, что я хлопотал по-пустому? В конце концов я попросту должен ему эту крону, я вспомнил этот старый долг, а он имеет дело с порядочным человеком, честным до мозга костей. Словом, это его деньги... Ах, не стоит благодарности, я очень рад. До свидания!

И я ушел. Наконец-то этот назойливый калека отвязался от меня, теперь мне никто не помешает. Я снова пошел на Пилестредет и остановился у продуктового магазина. Витрина была завалена съестными припасами, и я решил войти и прихватить чего-нибудь с собой.

- Кусок сыру и французскую булку! – сказал я и бросил на прилавок полкроны.
- Сыру и хлеба на все деньги? – насмешливо спросила продавщица, не глядя на меня.
- Да, на все пятьдесят эре, – невозмутимо ответил я.

Я получил покупку, почтительно поклонился старой толстой продавщице и быстро зашагал к холму, где был парк. Там я отыскал скамейку и с жадностью принялся за еду. Мне сразу полегчало; давно уже не было у меня столь обильной трапезы, и мало-помалу я успокоился, почувствовал облегчение, как бывает, когда выплачешь все слезы. Вскоре я совсем воспрял духом; теперь мне уже мало было написать статью на такую простую и нехитрую тему, как роль преступлений в будущем, к тому же это всякий мог сам предугадать, стоило просто-напросто заглянуть в историю; я же чувствовал себя способным на гораздо большее свершение, мне хотелось преодолеть необычайные трудности, и я решил написать сочинение в трех частях о философском познании. Разумеется, я не премину разнести в пух и прах некоторые из Кантовых софизмов... Я хотел вынуть письменные принадлежности и приступить к работе, но тут обнаружилось, что у меня нет карандаша, я забыл его в лавочке у ростовщика – ведь карандаш лежал в кармане жилета.

Господи, до чего же мне все-таки не везет! Я выругался несколько раз, встал со скамейки и принялся ходить взад-вперед по дорожкам. Вокруг было тихо; в отдалении, подле королевской беседки, какие-то няньки катали младенцев в колясках, а больше нигде не было ни души. Я был очень расстроен и как безумный бегал вокруг скамейки. Со всех сторон на меня обрушивались беды! Мне нельзя написать философское сочинение в трех частях лишь потому, что в кармане у меня нет грошового карандаша! А что, если вернуться на Пилестредет и взять карандаш? Тогда я все-таки успею порядочно написать, прежде чем гуляющие хлынут в парк. Ведь от этого сочинения о философском познании зависело так много – как знать, быть может, счастье всего человеческого рода. И я полагал, что оно окажется весьма полезным многим молодым людям. Если поразмыслить хорошенько, то мне вовсе незачем нападать на Канта: этого легко избежать, стоит только чуть-чуть уклониться в сторону, когда речь пойдет о времени и пространстве; зато уж Ренана, этого старого священника, я не пощажу... Но так или иначе, нужно было написать определенное количество столбцов: за квартиру я не заплатил, хозяйка пристально смотрела на меня по утрам, когда я встречал ее на лестнице, и это мучило меня весь день, всплывало даже в самые радостные мгновения, когда ни одна черная дума не омрачала мою душу. Надо было положить этому конец. Я быстрым шагом покинул парк и отправился к ростовщику за своим карандашом.

Спустившись с холма, я обогнал двух дам. По нечаянности я задел одну рукавом, взглянул на нее и увидел полное, слегка бледное лицо. Вдруг она вся вспыхнула, похорошела, не знаю отчего, быть может, от слова, которое сказал ей прохожий, а быть может, – лишь от тайной мысли. Или же оттого, что я коснулся ее руки? Ее высокая грудь бурно вздымается, и она крепко сжимает ручку зонтика. Что это с ней?

Я остановился и снова пропустил ее вперед, мне невозможно было идти дальше, все это показалось мне таким странным. Я был раздосадован, сердился на себя за историю с карандашом, и еда, проглоченная после долгой голодовки, меня разгорячила. Мысли мои приняли причудливый ход, я почувствовал, как мною овладевает странное желание напугать эту даму, погнаться за ней и причинить ей какую-нибудь неприятность. Я снова нагоняю ее и прохожу мимо, потом неожиданно поворачиваю назад, чтобы рассмотреть ее, и оказываюсь с нею лицом к лицу. Я стою и смотрю ей в глаза, а сам тут же придумываю имя, хоть никогда его и не слышал, – имя, скользкое и волнующее: Илаяли. Она подошла ко мне совсем близко, я вскидываю голову и говорю веско:

– Вы потеряете книгу, фрекен.

Говоря это, я слышал стук своего сердца.

– Книгу? – спрашивает она свою спутницу. И идет дальше.

Но злобное упорство не покидало меня, и я пошел за нею. Конечно, в тот миг я вполне сознавал, что совершаю безумство, но был не в силах преодолеть его; волнение влекло меня

вперед, заставляло делать нелепые движения, и я уже не владел собою. Сколько ни твердил я себе, что поступаю как идиот, ничто не помогало, и я корчил за спиной дамы преглупые рожи, а обогнав ее, громко кашлянул. Теперь я медленно шел впереди, держась в нескольких шагах от нее, чувствовал ее взгляд у себя на спине и невольно потупил голову от стыда, что так отвратительно веду себя с нею. Мало-помалу мною овладевает странное ощущение, что я где-то далеко отсюда, во мне рождается смутное чувство, что не я, а кто-то другой идет по этим каменным плитам, потупив голову.

Через несколько минут, когда дама подошла к книжному магазину Паши, я уже стоял у первой витрины, шагнул ей навстречу и повторил:

– Вы потеряете книгу, фрекен.

– Но какую книгу? – спрашивает она в испуге. – О какой он книге говорит?

И она останавливается. Я злорадствую, видя ее смущение, растерянность у нее в глазах восхищает меня. Ей не понять той отчаянности, которая движет мною; у нее нет решительно никакой книги, ни единого листка, но она все-таки ищет в карманах своего платья, смотрит себе на руки, вертит головой, оглядывается назад, напрягает свои нежные мозги, пытаюсь понять, о какой это книге я говорю. Она то краснеет, то бледнеет, на лице ее одно выражение сменяется другим, я слышу, как тяжело она дышит; и даже пуговицы с ее платья смотрят на меня, словно испуганные глаза.

– Не обращай на него внимания, – говорит ее спутница и тянет ее за руку. – Ведь он же пьян! Разве ты не видишь, что этот человек пьян!

Как ни был я в тот миг далек от самого себя, совершенно подчиненный странным и незримым силам, все же ничто вокруг не могло ускользнуть от моего внимания. Вот большой рыжий пес пересек улицу и побежал к бульвару, а оттуда дальше в сторону Тиволи; на нем узкий мельхиоровый ошейник. Чуть подальше, на этой же улице, открылось окно во втором этаже, оттуда высунулась служанка и, засучив рукава, принялась вытирать снаружи стекла. Ничто не ускользало от моего внимания, я был в ясном уме и твердой памяти, все впечатления пронизывали меня ясно и отчетливо, словно яркая вспышка света. У обеих дам, стоявших передо мною, были синие перья на шляпах и шотландские шелковые шарфы на шее. Мне показалось, что они – сестры.

Они отошли прочь, остановились подле музыкальной лавки Сислера и стали разговаривать. Я тоже остановился. Потом обе они повернули назад, пошли тою же дорогою обратно, мимо меня, свернули на Университетскую улицу и направились к площади Святого Улафа. Я все время старался следовать за ними по пятам. Один раз они обернулись, поглядели на меня испуганно и в то же время с любопытством, но они не хмурились, и на лицах их не было сердитого выражения. Они так терпеливо сносили мою назойливость, что я устыдился и опустил глаза. Мне не хотелось больше докучать им, и я с чувством благодарности смотрел им вслед, ожидая, что вот сейчас они войдут куда-нибудь и исчезнут из виду.

У большого четырехэтажного дома под номером два они обернулись еще раз, потом вошли. Я прислоняюсь к газовому фонарю у фонтана и прислушиваюсь к их шагам на лестнице. Шаги замирают во втором этаже. Я отхожу от фонаря, смотрю вверх, на окна. И тут совершается чудо: там, наверху, колышутся занавески, потом окно открывается, оттуда выглядывает голова, и ее чудесные глаза останавливаются на мне. «Илаяли!» – шепчу я и чувствую, что краснею. Почему она никого не кликнула? Почему не сбросила мне на голову цветочный горшок или не послала прогнать меня? Мы не двигаемся и смотрим друг другу в глаза; это длится с минуту; от окна к тротуару несутся мысли, но мы не вымолвили ни слова. Она отворачивается, и это отзывается у меня в душе толчком, едва уловимой дрожью; я вижу ее плечо, потом спину, и она исчезает в комнате. Исчезает медленно, и движение ее плеча словно знак мне; всем своим существом я ощутил этот чудесный привет; и меня захлестнула светлая радость. Постояв немного, я повернулся и пошел по улице.

Я не осмеливался оглянуться назад и не знал, подходила ли она еще раз к окну; раздумывая об этом, я все больше беспокоился и не находил себе места. Быть может, в этот

самый миг она наблюдала за каждым моим движением, и мне было невыносимо знать, что за мной следят. Я держался как можно прямее и шел не останавливаясь; ноги подо мной дрожали, походка стала неверной, именно потому, что я хотел идти как можно красивее. Стараясь казаться спокойным и равнодушным, я нелепо размахивал руками, сплевывал и высоко задираю нос; но тщетно. Я все время чувствовал испытующий взгляд у себя за спиной, и по телу моему пробегал холодок. Наконец я скрылся в боковой улочке, откуда направился на Пилестредет, чтобы взять свой карандаш.

Мне не стоило ни малейшего труда получить его обратно. Ростовщик сам принес мне жилет и попросил меня тут же обшарить все карманы; я нашел еще несколько закладных квитанций, сунул их в карман и поблагодарил любезного хозяина за его предупредительность. Он нравился мне все больше и больше, и мне тут же захотелось произвести на него хорошее впечатление. Я сделал несколько шагов к выходу, но опять вернулся к прилавку, словно забыл что-то; мне казалось, что я обязан объяснить, сообщить ему подробности, и я стал тихонько напевать, чтобы привлечь его внимание. Потом я поднял карандаш, который держал в руке.

– Мне и в голову не пришло бы тащиться в такую даль за этим несчастным карандашом, – сказал я, – но тут дело другое, совсем особое дело. Хоть у этого огрызка карандаша и жалкий вид, благодаря ему я стал тем, что я есть, нашел, так сказать, свое место в жизни...

Я умолк. Хозяин подошел к самому прилавку.

– Вот как? – сказал он и с любопытством посмотрел на меня.

– Этим карандашом, – продолжал я невозмутимо, – написано мое трехтомное сочинение о философском познании. Неужели вы не слышали об этом?

И хозяину показалось, что он слышал имя, заглавие.

– Да, – сказал я, – это мое сочинение! Поэтому не удивительно, что я захотел получить назад этот огрызок карандаша: он имеет для меня слишком большую цену, он мне все равно что маленький друг. Я весьма благодарен вам за доброе отношение и не забуду этого; да, да, в самом деле, не забуду, честное слово, такой уж я человек, а вы этого вполне заслужили. До свиданья!

Я пошел к двери с таким видом, словно мог вершить людские судьбы. Ростовщик дважды вежливо поклонился мне вслед, а я еще раз обернулся и сказал: «До свиданья!»

На лестнице мне встретилась женщина с чемоданом. В виду моей важности она робко посторонилась передо мной, я же невольно стал шарить в кармане, чтобы дать ей что-нибудь: ничего не найдя, я понурил голову и прошел мимо. Немного погодя я услышал, как она стучится к ростовщику; на дверях у него была стальная решетка, и я тотчас узнал дребезжаний звук, когда ее коснулась человеческая рука.

Солнце светило с юга, было около полудня. Народу на улицах становилось все больше, наступало время гулянья, и толпы людей, раскланиваясь, с улыбками на лицах, словно волны перекачивались по улице Карла-Юхана. Я весь съезжился, сжался в комок и проскользнул мимо кучки знакомых, которые стояли неподалеку от университета и глазели на толпу. Потом я побрел на холм, в дворцовый парк, где предался глубоким раздумьям.

Как весело и легко все эти встречные вертят головами, как ясны их мысли, как свободно скользят они по жизни, словно по паркету бальной залы! Ни у кого из них я не прочел в глазах печали, их плечи не отягощает никакое бремя, в безмятежных душах, кажется, нет ни мрачных забот, ни тени тайного страдания. А я бродил среди этих людей, молодой, едва начавший жить и забывший уже, что такое счастье! Эта мысль не покидала меня, и я чувствовал, что стал жертвой чудовищной несправедливости. Почему в последние месяцы мне живется так невыносимо тяжело? Мою неомраченную душу словно подменили, повсюду меня подстерегали горькие разочарования. Стоило мне присесть на скамейку или сделать хоть шаг, как на меня сразу обрушивались какие-то жалкие и ничтожные нелепости, они вторгались в мой внутренний мир, вынуждали понапрасну растративать силы. Собака, пробежавшая мимо, желтая роза в петлице у какого-нибудь господина могли пробудить во

мне мысли и долгое время занимать меня. Что же со мной случилось? Неужто перст божий коснулся меня? Но почему же меня? Почему не какого-нибудь другого человека, живущего хоть в Южной Америке, уж если на то пошло? Чем больше я думал, тем непостижимее и непостижимее представлялось мне, что именно я избран своеобразным промыслом божьим для его упражнений! И как странно, что во всем мире он отыскивал именно меня; есть же книготорговец Паша и пароходный агент Хеннехен.

Я шел, размышляя об этом, и ничего не мог решить, я находил самые веские возражения против такого произвола со стороны бога, заставляющего меня расплачиваться за грехи всех. Когда я отыскивал свободную скамейку и сел, этот вопрос все еще занимал меня и мешал мне думать о другом. С того майского дня, когда начались мои злоключения, я чувствовал, как мною постепенно завладевает слабость, я стал слишком вялым, утратил волю и целенаправленность, словно стая каких-то мелких хищников вселилась в мое тело и грызла его изнутри. А что, если бог попросту решил меня погубить? Я встал и принялся расхаживать подле скамейки.

В этот миг все мое существо было исполнено нестерпимейшего страдания; даже руки мучительно ныли, и я не знал, куда мне их девать. К тому же я недавно так плотно поел, что мне было не по себе, я объелся и, не находя себе места, топтался возле скамейки; люди скользили мимо меня, появлялись и исчезали как призраки. Наконец на мою скамейку сели двое мужчин, они закурили сигары и стали громко разговаривать; я рассердился и хотел сделать им замечание, но вместо того повернулся и пошел в другой конец парка, где отыскивал пустую скамейку. Там я сел.

Мысль о боге снова начала меня одолевать. Я находил, что с его стороны в высшей степени непросительно вмешиваться всякий раз, как я пытаюсь найти работу, и расстраивать все дело, хотя я просил лишь хлеба насущного. Я определенно заметил, что стоит мне поголодать несколько дней подряд, как мой мозг начинает словно бы вытекать и голова пустеет. Она становится легкой и бесплотной, я больше не чувствую ее у себя на плечах, и мне кажется, что, когда я на кого-нибудь гляжу, глаза мои раскрываются до невероятности широко.

Я сидел на скамейке и думал обо всем этом, все горше сетуя на бога за эти непрерывные мучения. Если он, испытывая меня и воздвигая на моем пути препятствие за препятствием, хочет приблизить меня к себе, очистить мою душу, то смею его заверить, что он ошибается. Я поднял глаза к небу, чуть не плача от негодования, и раз навсегда высказал ему все, чтобы облегчить душу.

Вспомнилось то, чему меня учили в детстве, в ушах зазвучал негромкий голос, читающий Библию, и я начал разговаривать сам с собою, насмешливо покачивая головой. Зачем заботился я о том, что мне есть и пить, во что одеть брэнную свою плоть? Разве Отец Небесный не питает меня, как питает птиц, и не оказал мне особой милости, избрав раба своего? Перст божий коснулся нервов моих и потихоньку, едва заметно, тронул их нити. А потом господь вынул перст свой, и вот на нем обрывки нитей и комочки моих нервов. И осталась зияющая дыра от перста его, перста божия, и рана в моем мозгу. Но, коснувшись меня перстом десницы своей, господь покинул меня и не трогал более, и не было мне никакого зла. Он отпустил меня с миром, отпустил с открытой раной. И не было мне никакого зла от бога, ибо он – господь наш во веки веков...

Ветер донес до меня музыку и пение студентов, – значит, был уже третий час. Я достал карандаш и бумагу, хотел написать что-нибудь, и вдруг из кармана у меня выпала книжечка с талонами на бритье. Я сосчитал талоны: их оставалось шесть.

– Слава богу! – невольно воскликнул я. – Еще неделю-другую я могу бриться у цирюльника и иметь приличный вид!

Это маленькое достояние тотчас заставило меня воспрянуть духом; я тщательно разглядел талоны и спрятал книжку в карман.

Но писать я не мог. Сочинил несколько строк, а больше ничего не приходило в голову; мысли мои были где-то далеко, и я не мог сосредоточиться. Все меня рассеивало и

отвлекало, со всех сторон подступали новые впечатления. Комары и мошки садились на бумагу и мешали мне; я дул на них, чтобы прогнать, дул во всю мочь, но напрасно. Эта мелюзга переворачивалась, жалась к бумаге, упиралась так, что тонкие лапки гнулись. Просто невозможно от них избавиться. Они всегда найдут, за что зацепиться, отыскивают шероховатости и неровности на бумаге и сидят до тех пор, покуда им самим не вздумается улететь.

Некоторое время эти маленькие кровососы занимали меня, я закинул ногу на ногу и довольно долго наблюдал их. А потом до меня донеслись звуки кларнета, и от этого мысли мои приняли новое направление. Досадуя, что я не могу написать статью, я сунул бумагу в карман и откинулся на спинку скамейки. В такие мгновения моя голова до того ясна, что меня посещают самые изошренные мысли, и при этом я нисколько не устаю. Я сижу, откинувшись назад, поглядываю на свою грудь, на ноги и вижу, как подрагивает моя нога от толчков крови. Я приподнимаю голову и все смотрю, и меня охватывает какое-то странное, небывалое ощущение; по нервам моим пробегает дивная волна, и словно трепетный свет вдруг вспыхивает во мне. Я гляжу на свои башмаки и как будто встречаюсь со старым другом, как будто какая-то частица моего существа вновь возвращается ко мне; чувство единения захлестывает мне душу, глаза наполняются слезами, и мои башмаки словно отдаются во мне тихим звоном. «Это слабость! – строго говорю я себе и, сжав кулаки, повторяю: – Слабость». И я принялся смеяться над этими нелепыми чувствами, я нарочно издевался над собой; я произносил твердые и здравые слова, крепко жмурился, чтобы прогнать слезы. И словно я никогда не видел своих башмаков, я начинаю присматриваться, как они выглядят, как меняются при всяком движении моей ноги, и какая у них форма, как потерлась кожа, и обнаруживаю, что морщины и белесые швы придают им своеобразное выражение, что у них как бы есть лицо. Некая частица моего существа перешла в эти башмаки, от них на меня веяло чем-то близким, словно то было собственное мое дыхание...

Я долго предавался этим ощущениям, – наверно, не меньше часа. А потом на другой конец скамейки присел маленький старичок; садясь, он тяжело вздохнул и сказал:

– М-да-а-а, вот так-то!

Едва я услышал его голос, в голове у меня словно поднялся вихрь, я оставил башмаки в покое, и мне даже показалось, что смутное настроение, которое я только что пережил, было чем-то давним, с тех пор, пожалуй, прошел год или два, а теперь оно мало-помалу изглаживается из моей памяти. Я смотрел на старика.

Какое мне было дело до этого маленького человечка? Ровным счетом никакого! Меня занимало лишь то, что в руке он держал газету, старый номер со страницей объявлений, и в нее, по-видимому, было что-то завернуто. Мной овладело любопытство, и я не мог оторвать глаз от газеты; мне пришла безумная мысль, что это замечательная газета, единственная в своем роде; мое любопытство возрастало, и я начал ерзать на скамейке. Там могли быть документы, опасные бумаги, выкраденные из какого-нибудь архива. И я стал думать о тайном замысле, о заговоре.

Старичок сидел тихонько и о чем-то размышлял. Почему он не держит газету, как все, а вывернул ее? Что это за козни? Он, по-видимому, не хотел ни за что на свете выпустить этот сверток из рук. Он, пожалуй, не смел даже положить его себе в карман. Я готов был дать голову на отсечение, что это был не простой сверток.

Я смотрел вдаль. Уже одно то, что не было ни малейшей возможности проникнуть в эту тайну, разжигало во мне любопытство. Я шарил в карманах, хотел предложить что-нибудь этому человеку, вступить с ним в разговор, нащупал книжечку с талонами, вынул и тут же снова спрятал ее. Вдруг я осмелел, похлопал себя по пустому боковому карману и сказал:

– Не угодно ли сигарету?

Спасибо, он не курит, – пришлось бросить из-за болезни глаз, он почти ослеп. Впрочем, большое спасибо!

– А давно ли у вас больны глаза? Наверное, вам совсем нельзя читать? Даже газет?

– Да, к сожалению, даже газет!

Он повернулся ко мне. Глаза его закрывали бельма, отчего они казались остекленелыми; у него был белый взгляд, неприятный до отвращения.

– Вы не здешний? – спросил он.

– Да... Но неужели вы не можете прочесть даже название газеты, что у вас в руках?

– С трудом... А я сразу понял, что вы не здешний: догадался по выговору. Это так просто, ведь у меня очень тонкий слух. По ночам, когда все спят, я слышу дыхание в соседней комнате... Но я вот что хотел спросить: вы где живете?

Ложь тотчас же возникла у меня в голове. Я солгал невольно, сказал без умысла и задней мысли:

– На площади Святого Улафа, дом два.

– Правда? А ведь я знаю на площади Святого Улафа каждый камень. Там есть фонтан, несколько фонарей, деревья, я все помню... Какой, вы сказали, номер?

Я решил положить этому конец, измученный навязчивой мыслью о газете, и встал. Тайна непременно должна была объясниться.

– Раз вам нельзя читать газеты, зачем же...

– Вы, кажется, сказали, что живете во втором номере? – продолжал он, не замечая моего волнения. – В свое время я знал всех жильцов в этом доме. Как зовут вашего хозяина?

Чтобы покончить с ним, я сказал первую попавшуюся фамилию, выдумал ее тут же, на месте, чтобы отвязаться.

– Хапполати, – сказал я.

– Да, Хапполати. – Он без запинки повторил эту трудную фамилию и кивнул.

Я с изумлением смотрел на него; он сидел с очень серьезным видом, и лицо у него было задумчивое. Не успел я произнести глупую фамилию, которая взбрела мне на ум, как человек освоился с нею и сделал вид, что слышал ее раньше. Тем временем он положил свой сверток на скамейку, и я чувствовал, как волна любопытства захлестывает меня. Я заметил, что на газете были два жирных пятна.

– А ваш хозяин не моряк? – спросил старичок, и в голосе его не было и тени насмешки. – Мне помнится, он моряк!

– Моряк? Виноват, должно быть, вы знаете его брата, а этот – агент, Ю. – А. Хапполати.

Я думал этим его сразить; но он охотно верил всему.

– Я слышал, он дельный человек, – продолжал свои расспросы старик.

– Да, смысленный малый, отличный делец, – ответил я, – агент по продаже всякой всячины: брусника из Китая, перо и пух из России, кожа, древесина, чернила...

– Хе-хе, черт его побери! – с живостью прервал меня старик.

Это становилось забавным. Я увлекся и измышлял одну ложь за другой. Я снова сел, позабыл про газету, про таинственные бумаги, начал горячиться и перебивать собеседника. Доверчивость этого карлика пробудила во мне какую-то дурацкую наглость, хотелось немилосердно утопить его во лжи, сломить его сопротивление.

– А не приходилось ли вам слышать об электрическом молитвеннике, который изобрел Хапполати?

– Электри... как вы сказали?

– О молитвеннике с электрическими буквами, которые светятся в темноте! Это огромное дело с капиталом во много миллионов крон, работают словолитни и печатни, сотни механиков на большом жалованье, – семьсот человек, как я слышал.

– А я что говорил! – тихо сказал старик.

И умолк; он верил каждому моему слову, не задумываясь. Это несколько разочаровало меня, я надеялся, что мои рассказы приведут его в бешенство.

Я сплел еще две отчаянные байки, вошел в азарт и шепнул, что Хапполати целых девять лет был министром в Персии.

– Вы, пожалуй, и представить себе не можете, что это значит – быть министром в Персии? – спросил я. – Там министр важнее, чем у нас король, это почти все равно что султан, если вы знаете, кто это такой. Но Хапполати был на высоте и ни разу не оплошал.

И я рассказал об Илаяли, его дочери, фее, принцессе, которая имела триста рабынь и почивала на ложе из желтых роз; она была прекраснейшее существо, какое я видел, – покарай меня бог, – равной ей я не встречал в жизни!

– Стало быть, она была так красива? – рассеянно спросил старик, потупив глаза.

– Красива? Да она прекрасна, соблазнительно нежна! Глаза как бархат, руки словно янтарь! Один взгляд ее искушал, как поцелуй, и когда она звала меня, ее голос, как струя вина, пьянил мою душу. Да и почему бы ей не быть столь прекрасной? Разве, по-вашему, она какая-нибудь конторщица или служащая из пожарного ведомства? Да она, скажу я вам, небесное существо, она подобна сказке.

– Да, конечно, – сказал он почти равнодушно.

Его спокойствие наскучило мне; я был опьянен собственным голосом и говорил совершенно серьезно. Я не думал больше о похищенных бумагах, о заговоре в пользу какого-нибудь иностранного государства; маленький, тощий сверток лежал между нами на скамейке, но у меня уже не было никакого желания заглянуть в него и узнать, что в нем содержится. Я был поглощен собственными рассказами, перед глазами у меня проносились изумительные образы, кровь бросилась мне в голову, и я вдохновенно лгал.

А старик как будто собрался уходить. Он привстал и, чтобы не сразу прервать разговор, спросил:

– Должно быть, у этого Хапполати огромное состояние?

Как мог этот слепой, отвратительный старик распоряжаться чужой фамилией, которую я выдумал, так, словно ее можно было прочесть на любой вывеске в городе?

Он ни разу не запнулся, не пропустил ни одного звука; фамилия запечатлелась в его памяти и прочно укоренилась там. Я досадовал и сердился на этого человека, которого ничто не могло смутить или обескуражить.

– Не знаю, – ответил я вдруг. – Положительно не знаю. Но да будет вам известно, что зовут его Юхан Арндт Хапполати, если судить по инициалам.

– Юхан Арндт Хапполати, – повторил старик, несколько озадаченный моей горячностью.

И умолк.

– Вы бы посмотрели на его жену, – продолжал я вне себя. – Это такая толстуха... Вы, может быть, не верите, что она толста?

Нет, этого он, конечно, не мог отрицать; у такого господина вполне могла быть толстая жена...

На каждую мою выходку старик отвечал кротко и тихо, взвешивал слова, точно боялся сказать лишнее и рассердить меня.

– Что за черт, вы, верно, думаете, что я морочу вам голову? – вскричал я вне себя. – Вы, верно, думаете, что господина по фамилии Хапполати и на свете нет? Первый раз в жизни вижу такого упрямого и противного старика! Какая муха вас укусила? Вы еще, чего доброго, приняли меня за нищего, который надел праздничное платье, а у самого даже сигаретки нет? Я не привык к такому обращению, смею вас заверить, и, ей-же-богу, ни от кого этого не стерплю, так и знайте!

Старик тем временем встал. Он стоял, разинув рот, и молча слушал мою тираду, потом схватил свой сверток со скамейки и пошел, почти побежал по дорожке мелким старческим шагом.

А я все сидел и смотрел, как он удаляется и спина его горбится все сильнее. Не знаю, откуда взялось это впечатление, но мне показалось, что я никогда еще не видел такой постыдной, такой ничтожной спины, и мне было ничуть не совестно, что я обругал его напоследок...

Уже вечерело, солнце садилось, тихонько шелестела листва деревьев, и няньки, сидевшие у загородки, за которой выступали канатоходцы, собирались везти своих младенцев домой. Я был спокоен и невозмутим. Мое недавнее волнение мало-помалу улеглось, я ослабел, почувствовал вялость, мне захотелось спать; и хотя в тот день я съел

слишком много хлеба, последствия этого уже почти не чувствовались. В наилучшем расположении духа я откинулся на спинку скамьи и закрыл глаза; спать хотелось все сильнее, я клевал носом и совсем уж было уснул, но тут сторож положил мне руку на плечо и сказал:

– Здесь спать нельзя.

– Да, конечно, – сказал я и тотчас же поднялся.

И тут же положение мое вновь представилось мне совершенно безнадежным. Нужно было что-то сделать, что-то придумать! Мне не удалось найти места; рекомендации, которые я представлял, были давнишние и под ними стояли подписи никому не известных людей, так что на них надеяться не приходилось; к тому же я столько раз за это лето получал отказы, что потерял всякую уверенность в себе. Но как бы то ни было, я не уплатил в срок за квартиру, и эти деньги должен был где-то добыть. Остальное могло пока оставаться по-прежнему.

Машинально я снова взял в руки карандаш и бумагу, сел и написал в каждом углу листа: «1848». Если б хоть одна вдохновенная мысль овладела мною и подсказала мне слова! Ведь бывали же раньше, да, бывали такие минуты, когда я безо всякого труда мог сочинить длинную и блестящую статью.

Я сижу на скамейке и все вывожу на бумаге: «1848», я пишу это число вдоль и поперек, на тысячу разных ладов, и жду, не осенит ли меня спасительное вдохновение. Какие-то отрывочные мысли роятся в голове, гаснущий день навеивает уныние и грусть. Осень уже пришла и начинала сковывать все сном, мухи и насекомые ощутили на себе ее дыхание, в листве деревьев и на земле слышен шорох – это не хочет покориться жизнь, она беспокойна, шумна, неутомима, она не щадит сил в своей борьбе против умирания. Все ползучие твари снова высовывают желтые головы из мха, шевелят конечностями, ощупывают землю длинными усиками, а потом вдруг падают, опрокидываются кверху лапками. Всякая былинка принимает особенный, неповторимый оттенок под дыханием первых холодов; бледные стебельки тянутся к солнцу, опавшие листья шуршат на земле, словно шелковичные черви. Осенняя пора, карнавал тления; кроваво-красные лепестки роз обрели воспаленный, небывалый отлив.

Я сам чувствовал себя, словно червь, гибнущий среди этого готового погрузиться в спячку мира. Охваченный непостижимым страхом, я вскочил и большими шагами забегал по дорожке. «Нет! – крикнул я и стиснул кулаки. – Так продолжаться не может!» И снова сел, взялся за карандаш, решившись во что бы то ни стало написать статью. Я не имел права опускать руки – счет за квартиру маячил у меня перед глазами.

Медленно, очень медленно мысли мои приходили в порядок. Я сосредоточился и не спеша, взвешивая каждое слово, написал две вводные страницы; они могли стать введением к чему угодно – к путевым заметкам или к политическому обзору, как мне заблагорассудится. Это было превосходное начало и к тому и к другому.

Потом я начал искать подходящее содержание – кого-нибудь или что-нибудь такое, о чем стоило бы написать, и ничего не мог найти. От этого бесполезного усилия мои мысли снова начали путаться, я почувствовал, как мозг отказывается работать, голова все пустеет, пустеет, и вот я снова совсем не чувствую ее на плечах. Эту зияющую пустоту в голове я ощущаю всем своим существом, мне кажется, что весь я пуст с головы до ног.

– Господи, боже ты мой! – воскликнул я в отчаянье, а потом повторил этот возглас еще и еще, не в силах больше вымолвить ни слова.

Ветер шумел в листве, надвигалось ненастье. Я посидел еще немного, задумчиво глядя на бумагу, потом сложил ее и не спеша спрятал в карман. Стало холодно, а у меня теперь не было жилета; я застегнул куртку до самого верха и сунул руки в карманы. Потом встал и пошел.

Хоть бы в этот раз мне посчастливилось, в этот единственный раз! Хозяйка уже дважды смотрела на меня, безмолвно требуя денег, а я вынужден был, смущенно поклонившись, проشمыгнуть мимо. Больше я так не могу; когда она снова бросит на меня такой взгляд, я

честно признаюсь во всем и откажусь от квартиры, ведь все равно дальше так нельзя.

Дойдя до выхода из парка, я снова увидел старичка, который убежал, испуганный моей яростью. Таинственный сверток был развернут и лежал подле него на скамейке, – там оказалась всякая снедь, и он закусывал. Я хотел подойти к нему и извиниться за свое поведение, но не мог – так отвратительно он ел; морщинистые старческие пальцы, словно десять отвратительных когтей, впивались в жирные бутерброды, я почувствовал, что меня тошнит, и молча прошел мимо. Он не узнал меня, его глаза скользнули по мне, и ни один мускул в лице не дрогнул.

Я пошел дальше.

По своему обыкновению, я останавливался перед каждой вывешенной газетой, читал объявления о найме на работу и, когда нашел одно подходящее место, очень обрадовался: торговец на Гренланслерет ищет счетовода для двухчасовой вечерней работы; плата по соглашению. Я записал адрес и про себя возблагодарил бога; я соглашусь на самую ничтожную плату, мне хватит и пятидесяти эре, хватит даже сорока; я пойду на какие угодно условия.

Когда я вернулся домой, на моем столе лежала записка от хозяйки, в которой она требовала либо уплатить за комнату вперед, либо освободить ее как можно скорее. Она просила не сердиться, – ей нельзя иначе. С совершенным почтением мадам Гуннерсен.

Я написал письмо торговцу Кристи, Гренланслерет, 31, положил его в конверт и бросил в ящик на углу. Потом я снова поднялся к себе, сел в качалку и задумался, а сумерки меж тем все сгущались. Тяжелая усталость одолевала меня.

Наутро я проснулся рано. Когда я открыл глаза, было еще совсем темно, и лишь через некоторое время я услышал, как внизу пробило пять. Я хотел уснуть снова, но сон не приходил, я не мог даже задремать, тысячи мыслей лезли в голову.

Вдруг мне пришло на ум несколько хороших фраз, годных для очерка или фельетона, – прекрасная словесная находка, какой мне еще никогда не удавалось сделать. Я лежу, повторяю эти слова про себя и нахожу, что они превосходны. Вскоре за ними следуют другие, я вдруг совершенно просыпаюсь, встаю, хватаю бумагу и карандаш со стола, который стоит в ногах моей кровати. Во мне как будто родник забил, одно слово влечет за собой другое, они связно ложатся на бумагу, возникает сюжет; сменяются эпизоды, в голове у меня мелькают реплики и события, я чувствую себя совершенно счастливым. Как одержимый исписываю я страницу за страницей, не отрывая карандаша от бумаги. Мысли приходят так быстро, обрушиваются на меня с такой щедростью, что я упускаю множество подробностей, которые не успеваю записать, хотя стараюсь изо всех сил. Я полон всем этим, весь захвачен темой, и всякое слово, написанное мною, словно изливается само по себе.

Это изумительное состояние длится, длится бесконечно долго; и когда я наконец прерываюсь и откладываю карандаш, на моих коленях лежат пятнадцать, а то и все двадцать исписанных страниц. Если только эти листки действительно чего-нибудь стоят, я спасен! Я вскакиваю с постели и одеваюсь. Все больше и больше светает, уже почти можно прочесть объявление смотрителя маяка у двери, а подле окна уже так светло, что писать – одно удовольствие. И я тотчас принимаюсь переписывать бумаги набело.

Мои фантазии облечены удивительной, плотной дымкой, сотканной из света и красок; я едва успеваю удивляться своим удачам и говорю себе, что лучше этого еще ничего не читал. Счастье пьянит меня, радость пылает в моей душе, я торжествую победу; взвесив пачку листков на руке, я тут же оцениваю их в пять крон, по самому примерному подсчету. Ведь о пяти кронах никто не станет торговаться, напротив, можно смело сказать, что, учитывая содержание моей рукописи, даже десять крон – ничтожная цена. Я не собирался делать столь исключительную работу даром; сколько мне известно, такие романы не валяются на дороге. И я решил просить десять крон.

В комнате становилось все светлее, я взглянул в сторону двери и без особенного труда прочел тонкие, похожие на скелеты буквы, возвещающие, что «у йомфру Андерсен, в

подворотне направо, можно приобрести самый лучший саван»; к тому же часы внизу уже довольно давно пробили семь.

Я отошел от окна и остановился посреди комнаты. Если все хорошенько взвесить, мадам Гуннерсен весьма кстати отказала мне. Эта комната вовсе не для меня; здесь такие простенькие зеленые занавески на окнах, а в стены вбито так мало гвоздей и некуда вешать одежду. Качалка в углу, по сути дела, лишь пародия, жалкое подобие качалки, смех, да и только. Кроме того, она слишком низка для взрослого и до такой степени узка, что из нее приходится самого себя вытаскивать, словно ногу из тесного сапога. Одним словом, эта комната не для умственной работы, и я не хотел здесь оставаться. Ни в коем случае не хотел! Слишком долго я молчал, терпел и томился в этой каморке.

Окрыленный надеждой и радостью, все еще полный мыслей о замечательном сочинении, которое я то и дело вытаскивал из кармана и перечитывал, я решил, не теряя времени, собирать вещи. Я достал узелок – пару чистых воротничков, завернутых в красный носовой платок, и скомканную газетную бумагу, в которой я приносил домой хлеб, скатал свое одеяло, прихватил весь свой запас писчей бумаги. Потом я предусмотрительно обшарил все углы, чтобы убедиться, не забыл ли я чего-нибудь, и, не найдя ничего, выглянул в окно. Утро выдалось пасмурное и сырое; у сгоревшей кузницы не было ни души, а отсыревшая веревка на дворе туго натянулась от стены к стене. Все это я видел и раньше, поэтому я отошел от окна, взял одеяло под мышку, поклонился объявлению смотрителя маяка, а также савану йомфру Андерсен и отворил дверь.

Тут я вспомнил про хозяйку; ведь нужно было уведомить ее об отъезде, пусть знает, что имела дело с порядочным человеком. Кроме того, мне хотелось поблагодарить ее в записке за те несколько дней, что я пользовался комнатой сверх срока. Сознание, что теперь я на некоторое время обеспечен, было так сильно, что я даже пообещал хозяйке в ближайшие дни занести пять крон; мне хотелось подчеркнуть, какой благородный человек жил под ее кровом.

Записку я оставил на столе.

У двери я снова остановился и обернулся назад. Светлое чувство возвращения к жизни возродило меня, я был благодарен богу и всему миру, я опустил на колени у кровати и громко возблагодарил творца за великую милость, которую он ниспослал мне в это утро. Я знал, да, знал, что этот порыв вдохновения, который я только что пережил и перенес на бумагу, был чудом, свершившимся в моей душе по воле неба, откликом на мой вчерашний крик о помощи. «Там господь! Там господь!» – восклицал я и плакал, радостно умиленный собственными словами; по временам мне приходилось умолкать и прислушиваться, не идет ли кто наверх. Наконец я встал, неслышно спустился с длинной лестницы и, никем не замеченный, добрался до парадной двери.

Мостовые блестели от дождя, выпавшего ранним утром, над городом нависло тяжелое и низкое небо, солнце не проглядывало сквозь тучи. Который был час? По своему обыкновению, я пошел к ратуше и увидел, что на часах половина девятого. Значит, мне предстояло бродить добрых два часа, ведь не имело смысла являться в редакцию до десяти или даже до одиннадцати, а куда приходилось шататься по улицам и на досуге придумывать, как раздобыть чего-нибудь на завтрак. Впрочем, я не боялся в тот вечер остаться без ужина; те времена, слава богу, миновали! Это уже пережито, кончилось, как дурной сон; теперь мои дела пошли в гору!

Под мышкой у меня было зеленое одеяло, и от этого я чувствовал себя неловко: просто немислимо носить такой сверток на виду у всех. Что подумают люди? Я стал подыскивать местечко, где можно было бы оставить его на время. Вдруг мне пришло в голову, что я могу зайти к Сембу и попросить завернуть одеяло в бумагу; мой сверток тотчас примет приличный вид, и мне нечего будет стыдиться. Я зашел в магазин и обратился со своей просьбой к одному из приказчиков.

Он взглянул сперва на одеяло, потом на меня; мне показалось, что он презрительно пожал плечами, принимая сверток. Это меня задело.

– Осторожней, черт побери! – воскликнул я. – Тут завернуты две драгоценные вазы. Эта посылка будет отправлена в Смирну.

Моя уловка удалась как нельзя лучше. Теперь у приказчика был виноватый вид, он словно молил простить его за то, что он не сразу сообразил, какой это ценный сверток. Когда он закончил свое дело, я поблагодарил его с таким видом, словно уже не раз отсылал в Смирну всякие драгоценности; приказчик даже проводил меня до порога и распахнул передо мной дверь.

Я отправился на рыночную площадь и стал бродить в толпе, стараясь держаться поближе к женщинам, которые продавали цветы в горшках. Тяжелые, красные розы, влажно алевшие в сыром утреннем воздухе, дразнили меня, вызвали искушение сорвать один цветок, и я спрашивал о цене, пользуясь предложением подойти поближе. Будь у меня деньги, я купил бы розу, не задумываясь; чтобы возместить такую трату, я мог бы в чем-нибудь урезать себя.

Десять часов, иду в редакцию. Человек с ножницами роется в куче старых газет, редактор еще не приходил. Он предлагает мне оставить мою пухлую рукопись, а я даю ему понять, что это не простая рукопись, и убедительно прошу передать ее в собственные руки редактора. Позднее я сам зайду за ответом.

– Ладно! – сказал Человек-Ножницы и снова принялся за свои газеты.

Мне показалось, что он отнесся к делу слишком спокойно, но я промолчал, с притворным равнодушием кивнул ему и ушел.

Теперь у меня было много свободного времени. Хоть бы небо прояснилось! Погода омерзительная – ни ветра, ни мороза; дамы предусмотрительно раскрыли зонтики, а шляпы на головах у мужчин имеют смешной и печальный вид. Я снова иду на рынок, рассматриваю зелень и розы. Вдруг кто-то кладет мне руку на плечо, и я оборачиваюсь – это «Красная девица» желает мне доброго утра.

– Доброе утро? – повторил я полувопросительно, желая поскорей от него отвязаться. Я недолюбливал «Красную девицу».

Он с любопытством смотрит на большой, аккуратный сверток у меня под мышкой и спрашивает:

– Что это у вас?

– Я был у Семба и купил кое-что на платье, – безразличным тоном отвечаю я. – Мне надоело ходить в такой поношенной одежде. Нельзя же без конца пренебрегать своей внешностью.

Он смотрит на меня с изумлением.

– Ну а вообще как дела? – спрашивает он, помолчав.

– Лучшего и желать нельзя!

– Нашли себе какое-нибудь занятие?

– Занятие? – повторяю я с нарочитым удивлением. – Да будет вам известно, что я служу бухгалтером в оптовой фирме Кристи.

– Вот как! – говорит он, попятившись. – Ах ты господи, до чего же я рад за вас. Глядите же не раздавайте денег всяким попрошайкам. Всего доброго.

Отойдя немного, он снова возвращается, указывает палкой на мой сверток и говорит:

– Позвольте рекомендовать вам моего портного. Более элегантного портного, чем Исаксен, вам не сыскать. Скажите, что вы от меня.

И зачем ему понадобилось совать нос в мои дела? Что ему до того, к какому портному я пойду? Я рассердился; этот пустой расфранченный человек раздражал меня, и я довольно грубо напомнил ему о десяти кронах, которые он как-то у меня занял. Но не успел он ответить, как я раскаялся, что потребовал у него долг, смутился и опустил глаза; в это время мимо нас проходила дама, я отступил, чтобы пропустить ее, и воспользовался случаем уйти.

Куда мне деваться, где ждать? Идти в кофейню с пустым карманом я не мог, и к знакомым в это время дня нельзя было зайти. Я бесцельно побрел по городу, между рынком и Гренсенем, прочитал «Вечерние новости», только что вывешенные на доске, прошелся по

улице Карла-Юхана, потом повернул и направился к храму Спасителя, где нашел спокойное местечко на кладбище, подле часовни.

Воздух здесь был влажный, я сидел в тишине, думал, задремывал и зяб. Время шло. Можно ли быть уверенным, что мой фельетон – это хоть и маленький, но вдохновенный шедевр? Бог знает, нет ли в нем ошибок! Если подумать хорошенько, его ведь могут вовсе не принять, просто-напросто не принять! Пожалуй, он попросту посредственный, а то и безнадежно плохой, кто мне поручится, что его уже не швырнули в корзину для бумаги?.. Мое душевное спокойствие было нарушено, я вскочил и бросился прочь с кладбища.

На Акерсгатен я заглянул через витрину в лавку и увидел, что на часах только начало первого. Это меня вконец расстроило, ведь я был уверен, что уже далеко за полдень, а идти к редактору раньше четырех было бесполезно. Меня одолевали мрачные предчувствия относительно судьбы моего фельетона; чем больше я думал об этом, тем мне представлялось невероятнее, что я мог написать нечто сносное в таком порыве, почти во сне, когда мой мозг лихорадило и мысли блуждали. То был, конечно, просто самообман, и все утро я радовался зря! Еще бы!.. Я быстро шел по Уллевольсвейен, мимо холма Святого Генриха, миновал пустыри, зашагал по узким, странным улицам, прилегающим к лесопилке, мимостроек и огородов и очутился наконец на большой дороге, которой не видно было конца.

Здесь я остановился и решил повернуть назад. Ходьба согрела меня, и назад я шел медленно, повесив нос. Мне встретились два воза с сеном. Возчики лежали навзничь на сене и пели, оба босые, с круглыми, беспечными лицами. Идя им навстречу, я думал, что они заговорят со мной, отпустят какое-нибудь замечание или начнут смеяться, и, когда я подошел к ним довольно близко, один из них громко осведомился, что у меня под мышкой.

– Одеяло, – ответил я.

– Который час? – спросил он.

– Точно не знаю, наверно, около трех.

Тогда оба засмеялись и поехали дальше. Но вдруг меня ожгла боль от удара кнутом по уху, и шляпа слетела с головы; эти парни не могли удержаться, чтобы не подшутить надо мною. Возмущенный, я схватился за ухо, подобрал шляпу на краю канавы и пошел прочь. У холма Святого Генриха я спросил у встречного, сколько времени, и он ответил, что уже пятый час.

Пятый час! Уже пятый час! Я прибавил шагу, почти бегом поспешил в редакцию. Редактор, пожалуй, давно там, а может быть, даже уже ушел! Я то брел медленно, то бежал, едва не попадая под колеса, обгонял прохожих, мчался взапуски с лошадьми, выбивался из сил как безумный, только бы успеть вовремя. Вбежав в здание, я несколькими прыжками одолел лестницу и постучал в дверь.

Ответа не было.

«Он ушел! Ушел!» – думаю я. Я дергаю дверь, она не заперта, стучу еще раз и вхожу.

Редактор сидит за столом, лицом к окну, в руке у него перо, он что-то пишет. Я здороваюсь, с трудом переведа дух, он оборачивается, глядит на меня и качает головой.

– У меня еще не было времени просмотреть ваш очерк.

Я рад, что он, по крайней мере, пока не отверг мою работу, и говорю:

– Ну конечно, я же понимаю. Да это и не к спеху. Может быть, зайти дня через два или...

– Да, да, я погляжу. Впрочем, у меня ведь есть ваш адрес.

И тут я забыл сказать, что у меня больше нет никакого адреса.

Аудиенция кончилась, я с поклонами отступаю назад и ухожу. Душа моя снова полна надежды: еще ничего не потеряно, напротив, я еще могу многого добиться, если уж на то пошло. И в голове у меня рождаются всякие фантазии, мне мнится, что у престола Всевышнего решено вознаградить меня за мой фельетон десятью кронами...

Только бы мне найти какое-нибудь пристанище на ночь! Я раздумываю, где мне лучше всего заночевать; этот вопрос так занимает меня, что я останавливаюсь посреди улицы. Я забываю, где я, стою, как одинокий бакен в море, а вокруг плещут и бушуют волны. Газетчик

протягивает мне «Викинга». Любопытно, очень любопытно! Я поднимаю голову и вздрагиваю – передо мной снова магазин Семба.

Я быстро поворачиваюсь, стараюсь скрыть сверток и, растерянный, спешу к церкви, боясь, как бы меня не увидели из окон. Я минуя Ингебрет, прохожу мимо театра, у Логена сворачиваю и направляюсь в сторону набережной, к форту. Отыскав свободную скамейку, я снова погружаюсь в размышления.

Где мне найти пристанище на ночь? Нет ли какой-нибудь дыры, где я мог бы укрыться до утра? Гордость не позволяла мне вернуться назад, в прежнюю свою комнату; я и мысли не допускал о том, чтобы отказаться от своих слов, я с негодованием отмахнулся от этого и лишь смущенно улыбнулся, представив себе маленькую красную качалку. Волей воображения я вдруг очутился в большой, с двумя окнами, комнате на Хегде-хауген, где когда-то жил: на столе я увидел поднос со множеством бутербродов внушительного вида, а потом он превратился в бифштекс – соблазнительный бифштекс, рядом появилась белоснежная салфетка, груды хлеба, серебряная вилка. И отворилась дверь: вошла моя хозяйка, она предложила мне еще чашечку чаю...

Пустые видения и сны! Я стал внушать себе, что, если б я теперь добыл еды, голова моя снова пришла бы в расстройство, мне пришлось бы бороться с той же самой лихорадкой в мыслях, с наплывом безумных фантазий. Таков уж я был, еда приносила мне вред; это была моя странность, мое особенное свойство.

Может статься, я еще найду себе пристанище попозже, перед вечером. Спешить некуда: на худой конец, отыщу местечко где-нибудь в лесу, все городские окрестности к моим услугам, и мороза нет.

А море замерло в тяжелой неподвижности, корабли и неуклюжие, тупоносые буксиры бороздили его свинцовую гладь, вспенивали воду с обоих бортов,плыли все вперед, дым, словно пух, летел из труб, стучали машины, сотрясая глухими ударами промозглый воздух. Небо застилало тучи, было безветренно, деревья у меня за спиной казались мокрыми, а скамейка подо мной была сырая и холодная. Время шло; я начал задремывать, появилась усталость, холодок пробежал по спине; вскоре я почувствовал, что глаза у меня совсем слипаются. И я смежил веки...

Когда я проснулся, было уже темно; одурелый спросонья и озябший, я вскочил, схватил свой сверток и пошел прочь. Я шел все быстрее и быстрее, чтобы согреться, махал руками, потирал ноги, которые у меня словно отнялись, и очутился у пожарной каланчи. Было девять; я проспал несколько часов.

Куда же мне деваться? Нужно найти место для ночлега. Я стою, гляжу на пожарное депо и соображаю, не удастся ли проскользнуть в какую-нибудь дверь, выждав, когда охранник зазеваается. Я поднимаюсь по ступенькам и пробую завязать с ним разговор, он тотчас же берет свой топорик на караул и готов меня слушать. Этот поднятый топорик, обращенный ко мне холодным лезвием, словно рубит меня по нервам, я немею от страха перед вооруженным человеком и невольно отступаю. Я молчу, только отступаю все дальше и дальше; спасая достоинство, я провожу рукою по лбу, словно забыл что-то, и отхожу. Очутившись снова на тротуаре, я чувствую облегчение, как будто в самом деле избежал серьезной опасности. И спешу прочь.

Холодный и голодный, все больше падая духом, поплелся я по улице Карла-Юхана; при этом я громко ругался, не беспокоясь, что кто-нибудь может это услышать. У здания стортинга, подле первого льва, опять-таки волею воображения, я вспоминаю знакомого художника, молодого человека, которого однажды спас в Тиволи от пощечины, а потом как-то заходил к нему. Весело щелкнув пальцами, я отправляюсь на Турденшельгатен, отыскиваю дверь с табличкой: «К.Захария Бартель» и стучусь.

Он сам открыл дверь; от него омерзительно пахло пивом и табаком.

– Добрый вечер! – сказал я.

– Добрый вечер! Это вы? Черт возьми, что это вам вздумалось пожаловать ко мне так поздно? Ведь при лампе на моей картине решительно ничего не видно. Со времени вашего

прошлого посещения я пририсовал стог сена и кое-что переделал. Приходите днем, а сейчас смотреть нет никакого смысла.

– Все-таки позвольте взглянуть! – сказал я. Впрочем, я не помнил, о какой картине шла речь.

– Это невозможно! – отвечал он. – Все будет казаться желтым! И кроме того... – понизив голос до шепота, он подошел ко мне вплотную. – Сегодня у меня девушка, так что я никак не могу.

– Ну, в таком случае и толковать не о чем.

Я попятился, пожелал ему доброй ночи и ушел.

Оставалось только одно – идти в лес. Ах, если б земля была не такой сырой! Я поглаживал свое одеяло и понемногу свыкался с мыслью, что буду ночевать под открытым небом. Поиски ночлега в городе были столь долгими и мучительными, что я устал, мне все опротивело; так сладостно было почувствовать успокоение, смириться и плестись по улице без единой мысли в голове. Проходя мимо университета, я поднял голову, увидел, что уже одиннадцатый час, и направился к окраине. На Хегдехауген я остановился перед съестной лавкой, у витрины. Рядом с французской булкой спала кошка, тут же была жестянка со свиным салом и стеклянные банки с крупой. Я постоял немного, глядя на это изобилие, но так как денег у меня не было, отвернулся и продолжал путь. Я шел очень медленно, миновал заставу, побрел дальше, все дальше, час за часом, и наконец добрался до пригородного леса.

Здесь я свернул с дороги и присел отдохнуть. Потом стал искать какое-нибудь мало-мальски подходящее место, собрал вереску и можжевельника, устроил постель на маленьком пригорке, где было чуть посуше, развернул свой пакет и вынул одеяло. Я смертельно устал после долгого пути и тотчас же лег. Много раз я ворочался и ерзал, покуда не устроился, наконец, поудобнее; ухо у меня слегка побаливало, оно даже распухло от удара кнутом, и я мог лежать только на одном боку. Башмаки я снял и положил под голову, завернув в бумагу от Семба.

Все вокруг было погружено в темноту, стояла тишина, полнейшая тишина. Лишь в высоте звучала вечная песня воздушных стихий, далекий, монотонный гул, который никогда не смолкает. Я так долго прислушивался к этому бесконечному, тоскливому звучанию, что мне сделалось не по себе; ведь это была музыка блуждающих миров, мелодия звезд...

– Нет, это, наверно, дьявольское наваждение! – сказал я и, чтобы ободриться, громко засмеялся. – Это филины кричат о земле Ханаанской!

Я встал, лег и снова встал, надел башмаки, принялся бродить в темноте, потом опять лег, и до самого рассвета боролся с ожесточением и страхом, лишь под утро сон наконец одолел меня.

Когда я открыл глаза, было уже совсем светло, и я почувствовал, что время близится к полудню. Я надел башмаки, снова завернул одеяло в бумагу и пошел обратно в город. Солнце, подобно вчерашнему, скрывали тучи, и я мерз, как собака; ноги у меня окоченели, а глаза слезились, словно ослепленные дневным светом.

Оказалось, что уже три часа. Голод терзал меня все сильнее, я ослаб. Я шел, временами чувствуя тошноту. Потом свернул к общественной столовой, прочитал меню, вывешенное на доске, и выразительно пожал плечами, словно терпеть не мог говядину и свинину; отсюда я отправился на вокзальную площадь.

Голова моя сильно кружилась; я шел дальше и старался не обращать на это внимания, но она кружилась все сильнее, и наконец мне пришлось присесть на лестнице. Все внутри меня переменялось, словно бы сдвинулось с места, или какая-то завеса, какая-то ткань лопнула у меня в мозгу. Раза два я чуть не задохнулся, и сидел пораженный. Я не терял сознания, я определенно чувствовал, как у меня со вчерашнего дня побаливало ухо, и когда мимо прошел знакомый, я тотчас узнал его, встал и поклонился.

Что это за новое, мучительное ощущение добавилось теперь к остальным? Неужели дело в том, что я спал на сырой земле? Или же я чувствую себя так потому, что еще не

завтракал? Вообще говоря, не имело смысла влачить столь жалкую жизнь; видит бог, я решительно не понимал, за что мне ниспослано это наказание! И я подумал, что очень даже просто могу стать прощельгой, могу снести в заклад одеяло. Я получу за него крону, и этого мне хватит трижды плотно пообедать, я продержусь сколько возможно, пока не подвернется что-нибудь другое; а Ханса Паули я как-нибудь обману. Я уже направился к процентщику, но остановился перед дверью, в раздумье покачал головой и повернул назад.

Чем дальше я уходил, тем радостнее становилось мне от мысли, что я преодолел это тяжкое искушение. Я думал о том, что остался честным человеком, что у меня твердая воля, что я, как яркий маяк, возвышаюсь над мутным людским морем, где плавают обломки кораблекрушений, и это исполняло меня гордости. Заложить чужую вещь, только чтобы пообедать, угрызаться совестью из-за каждого куска, ругать себя прощельгой, стыдиться перед самим собой – нет, никогда! Никогда! Такая мысль не могла прийти мне всерьез, ее, можно сказать, вовсе и не было; а за случайные, мимолетные мыслишки человека винить нельзя, в особенности, когда нестерпимо болит голова и до смерти устаешь все время таскать с собой чужое одеяло.

Рано или поздно непременно найдется какой-нибудь выход! Вот, скажем, этот торговец на Гренланслерет, я предложил ему свои услуги письмом, но разве я обивал его порог? Разве звонил по телефону с утра до ночи и получал отказы? Я просто-напросто не пришел к нему, потому и не знаю ответа. Быть может, из этого выйдет что-нибудь, быть может, на этот раз счастье мне улыбнется; пути счастья сплошь и рядом неисповедимы. И я отправился на Гренланслерет.

Последняя встряска меня обессилила, я едва плелся и придумывал, что мне сказать этому торговцу. Наверное, у него добрая душа; если он будет в хорошем настроении, то охотно даст мне крону вперед за работу, даже просить не придется; у подобных людей часто бывают премилые чудачества.

Я проскользнул в ворота, смочил слюною свои брюки на коленях, чтобы придать им более приличный вид, сунул одеяло за ящик в темный угол, пересек наискось улицу и вошел в лавку.

Внутри какой-то человек клеил пакеты из старых газет.

– Мне хотелось бы видеть господина Кристи.

– Это я и есть, – отозвался он.

– Вот как! А я такой-то, имел честь письмом предложить ему свои услуги и вот хочу узнать, можно ли мне на что-нибудь рассчитывать?

Он несколько раз повторил мое имя и рассмеялся.

– Не соблаговолите ли полюбоваться, как вы оперируете числами, сударь? Вы поместили ваше письмо тысяча восемьсот сорок восьмым годом.

И он захохотал во всю глотку.

– Да, это не очень хорошо, – смущенно сказал я. – Готов признать, я несколько рассеян, невнимателен.

– Мне, да будет вам известно, нужен человек, который никогда не делает ошибок в числах, – сказал он. – А право, жаль, у вас такой четкий почерк, и вообще ваше письмо мне понравилось, но...

Я подождал немного; мне трудно было поверить, что это его последнее слово.

Он снова занялся своими пакетами.

– Да, это досадно, очень досадно, но поверьте, такое никогда больше не повторится, ведь нельзя же из-за легкой описки считать меня совершенно непригодным к работе счетовода?

– Я этого и не считаю, – ответил он. – Но в ту минуту я придал этому такое значение, что тотчас взял другого.

– Стало быть, место занято? – спросил я.

– Да.

– Ах ты господи, значит, ничего не поделаешь!

– Ровным счетом. Мне очень жаль, но...

– Прощайте! – сказал я.

Звериная ярость овладела мной. Я схватил свое одеяло в подворотне, стиснул зубы, толкал мирных людей на улице и не извинялся. Когда какой-то господин остановился и сделал мне строгое замечание, я повернул к нему голову и выкрикнул ему прямо в ухо какую-то бессмыслицу, потряс кулаками перед самым его носом и пошел дальше, ослепленный бешенством, с которым не в силах был совладать. Он позвал полицейского, и в это мгновение мне больше всего захотелось затеять с полицейским драку, я умышленно замедлил шаг, чтобы меня могли нагнать; но его не было. Что толку, если все самые горячие, самые решительные попытки что-то предпринять оканчивались неудачей? Почему я написал 1848? На что сдался мне этот проклятый год? Теперь я был так голоден, что у меня сводило кишки, причем не приходилось и надеяться, что в этот день я раздобуду хоть немного еды. С течением времени все более сильное опустошение, душевное и телесное, завладевало мною, с каждым днем я все чаще поступался своей честностью. Я лгал без зазрения совести, не уплатил бедной женщине за квартиру, мне даже пришла в голову преподлая мысль украсть чужое одеяло – и никакого раскаяния, ни малейшего стыда. Я разлагался изнутри, во мне разрасталась какая-то черная плесень. А там, на небесах, восседал бог и не спускал с меня глаз, следил, чтобы моя погибель наступила по всем правилам, медленно, постепенно и неотвратимо. Но в преисподней метались злобные черти и рвали на себе волосы, оттого что я так долго не совершал смертного греха, за который господь по справедливости низверг бы меня в ад...

Я прибавил шагу, почти побежал, неожиданно свернул налево и в яростном негодовании очутился перед ярко освещенным, красивым подъездом; я не остановился, не опомнился ни на минуту; но удивительная пышность подъезда мгновенно запечатлелась в моей памяти, каждая мелочь, все украшения стояли перед моим внутренним взором, пока я бежал вверх по лестнице. Во втором этаже я резко позвонил. Почему я остановился именно во втором этаже? И почему схватился за самый дальний от лестницы звонок?

Молодая дама в сером платье с черной отделкой отворила дверь; некоторое время она изумленно смотрела на меня, потом покачала головой и сказала:

– Нет, сегодня у нас ничего нет.

И хотела закрыть дверь.

Почему именно ей суждено было оказаться на моем пути? Она приняла меня за нищего, а я вдруг стал хладнокровен и спокоен. Я снял шляпу, почтительно поклонился и, как будто не расслышав ее слов, сказал с крайней учтивостью:

– Прошу прощения, фрекен, что я так громко позвонил, я не привык к вашему звонку. Кажется, здесь живет больной, который ищет человека возить его в коляске?

Мгновение она постояла, как бы взвешивая мою нелепую выдумку, и, видимо, не зная, что обо мне думать.

– Нет, – сказала она наконец. – Никакой больной здесь не живет.

– Разве? Такой пожилой господин, которого нужно возить по два часа в день, за сорок эре в час.

– Нет.

– Тогда еще раз прошу прощения, – сказал я. – Очевидно, это в первом этаже. Я только хотел рекомендовать ему одного человека, своего знакомого, чья судьба мне не безразлична. Меня зовут Ведель-Ярльсберг.

Я снова поклонился и сделал шаг назад; дама покраснела до корней волос, от смущения она не могла двинуться с места и стояла, глядя мне вслед, пока я спускался по лестнице.

Спокойствие снова вернулось ко мне, и голова моя была ясна. Слова дамы, что ей нечего подать сегодня, подействовали на меня, как холодный душ. Я уже дошел до того, что каждый мог, посмотрев на меня, мысленно сказать: «Вон идет нищий, он клянчит у людей себе на пропитание!»

На Меллергаде я остановился у кухмистерской и стал нюхать аппетитный запах

жареной говядины; я уже взялся за ручку двери и хотел войти, сам не зная для чего, но вовремя одумался и ушел. Выйдя на площадь, я стал искать места, где бы отдохнуть, но все скамейки были заняты, и я тщетно бродил вокруг церкви в поисках тихого местечка, куда мог бы присесть. «Ну конечно! – с мрачностью сказал я про себя. – Конечно! Конечно же!» И я пошел дальше. У фонтана в углу базара я остановился, выпил воды, снова пошел, волоча ноги, подолгу мешкал у каждой витрины, провожал глазами каждую проезжавшую карету. Голова у меня горела, в висках раздавался какой-то странный стук; выпитая вода не пошла впрок, и время от времени я с трудом удерживался от рвоты. Наконец я добрался до кладбища у храма Спасителя. Я сел, уперся локтями в колени и уронил голову на руки; когда я скорчился таким образом, мне стало лучше, и я уже не чувствовал покалывания в груди.

Какой-то камешек ползал по гранитной плите неподалеку от меня и высекал надпись; он был в темных очках и вдруг напомнил мне одного моего знакомого, которого я почти забыл, – тот человек служил в банке, и я встретился с ним как-то в кофейне.

Если б только я мог преодолеть свой стыд и обратиться к нему! Сказать ему всю правду о том, как мне теперь тяжело, как трудно добывать пропитание! Я мог бы отдать ему книжку с талонами на бритве... Ах, черт, я совсем позабыл про эту книжку! А там талонов почти на крону! Взволнованный, я начинаю искать свое сокровище. Не найдя сразу, я вскакиваю, шарю в холодном поту от страха, и наконец нахожу ее на дне бокового кармана вместе с чистыми и исписанными листками, не имеющими никакой ценности. Я несколько раз пересчитываю эти шесть талонов от начала, потом от конца; мне они не очень нужны, – я больше не хочу бриться, такая уж у меня прихоть, фантазия. Я мог бы иметь вместо них полкроны, блестящую монету из конгсбергского серебра! Банк закрывается в шесть, я могу дожидаться своего знакомого у кофейни, он придет часов в семь или в восемь.

Я долго радовался этой мысли. Время шло, в листве каштанов вокруг меня шумел ветер, день клонился к вечеру. Но разве не унижительно соваться с шестью талончиками к молодому человеку, служащему в банке? Как знать, может, у него целых две пухлых книжки в кармане, а талоны в них красивее и чище, чем мои. И я шарил по карманам в надежде найти еще что-нибудь подходящее и предложить ему в придачу, но ничего не нашел. А что, если предложить ему мой галстук? Я отлично могу обойтись и без него, стоит только плотно застегнуть куртку, а мне и без того приходится это делать; "раз у меня нет жилета. Я снял галстук, завязанный большим бантом и закрывавший едва ли не половину моей груди, тщательно почистил его и вместе с книжкой завернул в кусок белой бумаги. Потом покинул кладбище и пошел в город.

Часы на ратуше показывали семь. Я держался поблизости от кофейни, прохаживался взад-вперед вдоль железной решетки и внимательно оглядывал всех, кто входил и выходил. Наконец, около восьми я увидел молодого человека, чисто и элегантно одетого, который направлялся к дверям кофейни. Когда я увидел его, сердце у меня в груди затрепыхалось, как птичка, и я, не здороваясь, набросился на него.

– Дайте полкроны, старый друг! – нагло сказал я. – А вот это вам в залог. – И я сунул маленький сверток ему в руку.

– Не могу! – сказал он. – Видит бог, у меня ничего нет! – И он вывернул свой кошелек наизнанку перед самым моим носом. – Вчера вечером я развлекался и теперь сижу на мели. Поверьте, у меня ничего нет.

– Ну не беда, друг мой! – ответил я, поверив ему на слово.

Ведь он, конечно, не стал бы лгать из-за такого пустяка; мне даже показалось, что его серые глаза увлажнились, когда он рылся в карманах и ничего не находил. Я отошел.

– В таком случае, извините! – сказал я. – Просто я попал в некоторое затруднение.

Я уже отошел довольно далеко, когда он окликнул меня и напомнил о свертке.

– Оставьте, оставьте его у себя! – откликнулся я. – Сделайте мне удовольствие! Там несколько безделок, мелочь – едва ли не все, что у меня есть на свете.

Я был растроган собственными словами, они прозвучали так безутешно в вечерних сумерках, и я заплакал...

Ветер свежел, тучи быстро неслись по небу, и с наступлением сумерек становилось все холоднее. Я шел по улице и плакал, все больше и больше жалея себя, то и дело у меня вырывались несколько слов, восклицание, от которого слезы, утихшие было, снова наворачивались на глаза:

– Боже, как мне тяжело! Боже, как тяжело!

Прошел час, он тянулся так медленно, что казался бесконечным. Я долго пробыл на Турвгаде, сидел на ступеньках у дверей, прятался в подворотнях, когда кто-нибудь проходил мимо, бессмысленно смотрел через освещенные витрины на сновавших в лавках покупателей и, наконец, нашел уютное местечко за штабелем досок, между церковью и базаром.

В лес я идти не мог даже под страхом смерти – в тот вечер у меня не было сил, а путь казался таким нескончаемо долгим. Я решил, что как-нибудь протяну ночь здесь, никуда не пойду; если меня одолеет холод, поброжу вокруг церкви, стесняться тут особенно нечего. Я прислонился к доскам и задремал.

Понемногу стало тише, лавки закрывались, шаги прохожих раздавались все реже, наконец, в окнах погас свет...

Я открыл глаза и увидел перед собой какого-то человека; блестящие пуговицы бросились мне в глаза, и я понял, что это полицейский; лица видно не было.

– Добрый вечер! – сказал он.

– Добрый вечер! – испуганно ответил я. И встал, чувствуя неловкость.

Он постоял немного без движения.

– Где вы живете? – спросил он.

По старой привычке я, не задумываясь, назвал свой старый адрес, где жил недавно в каморке на чердаке.

Он еще немного постоял молча.

– Я сделал что-нибудь дурное? – со страхом спросил я.

– Что вы, вовсе нет! – отвечал он. – Но лучше бы вам пойти домой, здесь вы замерзнете.

– Да, это верно, сегодня свежо.

Я пожелал ему покойной ночи и непроизвольно направился к своему прежнему дому. Соблюдая осторожность, я мог пробраться наверх, никого не потревожив; на лестнице было всего восемь ступеней, и только две верхние грозили скрипнуть.

Я разулся на пороге и пошел. В доме было тихо; на втором этаже я услышал медленное тиканье часов и негромкий плач ребенка; больше я не слышал ни звука. Я отыскал свою дверь, приподнял ее на петлях, открыв, по обыкновению, без ключа, вошел в комнату и бесшумно затворил дверь за собой.

В каморке ничто не переменилось, занавески на окнах были отдернуты, кровать пуста. На столе я увидел бумагу, очевидно, это была моя записка; хозяйка даже не заглянула сюда после моего ухода. Я ощупываю рукой белый квадратик и с удивлением обнаруживаю, что это письмо. Но от кого? Я несу его к окну, разбираю в полутьме каракули и наконец нахожу свое имя. «Ага! – думаю я. – Верно, это от хозяйки, она запрещает мне входить в комнату, если я вздумаю вернуться!»

И медленно, очень медленно, я снова ухожу, неся башмаки в одной руке, письмо в другой и одеяло под мышкой. Я иду на цыпочках, стискиваю зубы, когда ступаю на скрипящие ступени, благополучно преодолеваю лестницу и оказываюсь в подъезде.

Я снова надеваю башмаки, долго вожусь со шнурками, сижу несколько времени, бессмысленно глядя перед собой и держа письмо в руке.

Потом встаю и ухожу.

На улице мерцает газовый фонарь, я иду поближе к свету, кладу сверток у столба и медленно, очень медленно вскрываю письмо.

Внутри у меня словно вспыхивает пламя, я слышу свой слабый крик, бессмысленный, радостный возглас. Письмо от редактора, мой фельетон принят и уже отправлен в

типографию! «Несколько мелких поправок... две-три случайные описки... очень талантливо... будет напечатано завтра... десять крон».

Смеясь и плача, я пустился бежать по улице, потом остановился, упал на колени, молил всех святых неведомо о чем... А время шло.

Всю ночь до утра я бродил по улицам, обезумев от радости, и повторял:

– Талантливо, значит, маленький шедевр, гениальная вещь. И десять крон!

2

Недели через две, как-то вечером, я ушел из дому.

Я снова сидел на кладбище и писал статью для одной из газет; я проработал до десяти, стало темнеть, скоро сторож должен был запереть ворота. Меня мучил голод, сильный голод. Тех десяти крон, к сожалению, хватило ненадолго; я уже не ел два, почти три дня и чувствовал слабость, мне было трудно даже водить карандашом по бумаге. В кармане у меня был сломанный перочинный ножик и связка ключей, но ни единой монетки.

Так как кладбищенские ворота запирались, мне, конечно, следовало пойти домой; но из бессознательного страха перед своим жилищем, где было темно и пусто, перед заброшенной мастерской жестянщика, где мне в конце концов позволили ютиться до поры до времени, я поплелся куда глаза глядят, мимо ратуши, к набережной, и дальше, к вокзалу, где наконец сел на скамейку.

Черных мыслей вмиг как не бывало, я забыл все свои невзгоды, успокоенный зрелищем морской глади, такой безмятежной и чудесной в вечерних сумерках. По привычке я хотел перечитать то, что недавно написал, моему больному воображению это представлялось лучшим из моих сочинений. Я достал рукопись из кармана, поднес ее к самым глазам, чтобы лучше видеть, и перечитывал страницу за страницей. Наконец я устал и снова сунул бумаги в карман. Все было тихо; море отливало перламутровой синевой, вокруг с места на место порхали птички. Несколько поодаль расхаживал полицейский, а больше не видно было ни души, и вся гавань безмолвствовала.

Я снова перебираю свои богатства: сломанный перочинный ножик, связка ключей, но ни единой монетки. Вдруг я хватаюсь за карман и снова достаю бумаги. Это было машинальное движение, бессознательный нервный порыв. Я отыскиваю чистый, неисписанный листок, и – бог знает, отчего мне пришла эта мысль – сворачиваю кулек, аккуратно загибаю края, чтобы казалось, будто в нем что-то есть, и бросаю его далеко на мостовую; пролетев немного по ветру, кулек падает и лежит неподвижно.

Голод стал невыносимым. Я смотрел на белый кулек, раздутый, словно полный серебряных монет, и мне самому начинало казаться, что он совсем не пустой. Я радовался и пробовал отгадать, сколько там денег, – если верно отгадаю, они будут мои! Я представлял себе маленькие, чудесные монетки по десять эре на самом дне и солидные, чеканные кроны сверху – целый кулек, набитый деньгами! Я таращил на него глаза, и мне хотелось его стащить.

Вдруг слышится кашель полицейского, – и отчего это мне приходит в голову тоже кашлянуть? Я встаю со скамейки и кашляю, делаю это трижды, чтобы он услышал. Как ему не броситься к кульку, когда он подойдет! Я радовался этой шутке, потирал руки от восторга и самозабвенно ругался. Я тебя проведу за нос, собака! Угодишь в самую преисподнюю за эту воровскую проделку! От голода я словно охмелел и был как пьяный.

Через несколько минут подходит полицейский, озираясь по сторонам, железные подковки на его каблуках стучат по мостовой. Он не торопится, у него целая ночь впереди; он замечает кулек, только когда подходит совсем близко. Но вот он останавливается и смотрит на кулек. А кулек так соблазнительно белеет на мостовой, должно быть, там кругленькая сумма, а? Кругленькая сумма серебром? И он поднимает кулек. Гм! Там что-то легкое, очень легкое. Может быть, драгоценное перо для шляпы... Своими большими руками он осторожно открывает кулек и заглядывает внутрь. А я хохочу, хохочу как сумасшедший и

хлопаю себя по колену. Но ни единого звука не вырывается у меня; мой смех безмолвен, он подобен затаенному рыданию...

Снова раздается стук каблуков по мостовой, и полицейский идет дальше по набережной. Я сижу со слезами на глазах и задыхаюсь от лихорадочной веселости. Потом я начинаю разговаривать вслух, рассказываю самому себе о кульке, передразниваю бедного полицейского, заглядываю себе в пустую горсть, снова и снова повторяю про себя: «Он кашлянул, когда бросил кулек! Кашлянул, когда бросил!» Немного погодя я добавляю к этой фразе еще несколько пикантных словечек, переделываю ее, и теперь она звучит гораздо остроумней: «Он кашлянул разок – кхе-хе!»

Эта игра словами меня утомила, был уже поздний вечер, и веселость моя исчезла. Мною овладел дремотный покой, приятная истома, и я этому не противился. Темнота сгустилась, подул легкий ветерок, и перламутровая гладь моря подернулась рябью; мачты кораблей четко рисовались на фоне неба, а сами черные их громады были похожи на молчаливых ошестинившихся чудищ, которые притаились и подстерегали меня. Скорбь моя прошла, ее заглушил голод; теперь я ощущал в себе приятную пустоту, ничто меня не тревожило, и я радовался своему одиночеству. Я забрался на скамейку с ногами и прилег – так удобнее всего было наслаждаться уединением. Ни единое облачко не омрачало мою душу, у меня не было тягостных чувств, и мне казалось, что сбылись все мои мечты и желания. Я лежал с открытыми глазами, словно отрешившись от самого себя, мысленно уносясь в блаженные дали.

По-прежнему ни один звук не нарушал моей безмятежности; мягкий сумрак скрывал от моих глаз весь мир, и я погрузился в глубины покоя – лишь беспокойный шорох тишины наполняет мои уши безмолвием. Когда настанет ночь, эти темные чудища поглотят меня и унесут далеко, за море, в чужие страны, где никто не живет. Они принесут меня к замку принцессы Илаяли, где мне уготовано такое великолепие, какого еще не видел свет. И сама она будет сидеть в сияющей зале, где все сделано из аметиста, на троне из золотистых роз, и протянет ко мне руку, когда я войду, и громко произнесет приветствие, когда я приближусь и преклоню колена: «Приветствую тебя, рыцарь, в моем замке и в моих владениях! Я ждала тебя двадцать лет, я звала тебя все эти светлые ночи, и когда ты страдал, я плакала, а когда ты спал, я навевала тебе прекрасные сны!..» И вот красавица берет меня за руку, указывает путь, ведет по длинным коридорам, где огромные толпы кричат «ура», через светлые сады, где играют и смеются триста юных дев, в другую залу, где все сделано из лучезарного изумруда. Здесь все залито солнцем, в галереях и портиках раздается сладостное пение, на меня веет благоуханными ароматами. Я держу ее руку в своей и чувствую, как мою кровь воспаляют безумные, колдовские чары; я обнимаю ее, и она шепчет: «Не здесь, пойдем дальше!» И мы входим в алую залу, где все сделано из рубина, – я погружаюсь в лучистое великолепие. И я чувствую, как ее рука обвивается вокруг меня, чувствую на своем лице ее дыхание, слышу шепот: «Приветствую тебя, мой возлюбленный! Целуй меня! Еще... еще...»

Со скамейки мне видны звезды, и моя мысль уносится вместе с вихрем света...

Я уснул, лежа на скамейке, и полицейский разбудил меня. Надо было дальше влачить нищенскую жизнь. Первым моим чувством было тупое изумление, что я очутился под открытым небом, но оно скоро сменилось горькой тоской; я готов был плакать от досады, что я все еще жив. Пока я спал, выпал дождь, платье мое промокло насквозь, и я чувствовал промозглый холод в членах. Темнота стала еще гуще, я с трудом мог разглядеть лицо полицейского.

– Та-а-ак! – сказал он. – А теперь вставайте.

Я тотчас встал; если б он велел мне снова лечь, я повиновался бы. Я был подавлен и совершенно обессилен, да к тому же голод сразу начал снова меня терзать.

– Эй вы, дурак, обождите! – окликнул меня полицейский. – Вы позабыли шляпу. Та-а-ак, теперь ступайте!

– Мне тоже показалось, что я... что я позабыл... – бессвязно лепетал я. – Спасибо.

Доброй ночи.

И я поплелся дальше.

Ах, если б теперь кусочек хлеба! Чудесный кусочек черного хлеба, который можно грызть, бродя по улицам! И я думал, что бывает такой особенно вкусный черный хлеб, и хорошо бы его поесть. Голод мучил меня, мне хотелось умереть, и я плакал от избытка чувств. Горе мое было беспредельно. Вдруг я остановился посреди улицы, затопал ногами и стал изрыгать проклятия. Как он меня обозвал? Дураком? Я покажу этому полицейскому, как называть меня дураком! Тут я повернул и бросился назад. Я весь пылал гневом. На улице я споткнулся и упал, но не обратил на это внимания, вскочил и снова побежал. Добравшись до вокзальной площади, я так устал, что у меня уже не было сил бежать до пристани; кроме того, злоба моя поостыла. Наконец я остановился и перевел дух. Не все ли равно, что сказал какой-то полицейский! Да, но я не намерен все это терпеть! Ну конечно! – перебил я сам себя. – Но что с него спрашивать!.. И это извинение показалось мне достаточным; я повторял про себя, что с него нечего спрашивать. И снова повернул назад.

«Господи, вот наказание, – с горечью думал я. – И придет же в голову бегать, высунув язык, по мокрым улицам в такую темную ночь!» Голод нестерпимо мучил меня, не давал мне покоя. Я то и дело глотал слюну, чтобы хоть немного его заглушить, и это как будто помогало. Вот уже много недель я недоедал, и теперь наступил ощутимый упадок сил. Когда мне так или иначе удавалось раздобыть пять крон, их хватало ненадолго, и поэтому я не успевал оправиться до новой голодовки. Хуже всего мне повиновались спина и плечи; боль в груди была не слишком сильна, и я мог унять ее, хорошенько прокашлявшись или подавшись всем телом вперед; а вот спина и плечи были для меня сущим наказанием. Отчего судьба так жестока? Разве я не имею такого же права жить, как антикварий Паша и пароходный агент Хеннехен? Разве у меня нет сильных плеч и пары крепких рабочих рук, разве я не готов удовольствоваться хотя бы местом дровосека на Меллергаде, чтобы зарабатывать на хлеб насущный? Разве я лентяй? Разве я не искал работы, не слушал лекций, не писал статей, не читал, не трудился день и ночь, как одержимый? Разве я не экономил, не питался хлебом и молоком, когда дела мои шли в гору, одним только хлебом – когда они шли хуже, и не голодал – когда оказывался совсем без средств? Разве я жил в гостинице или в большой квартире на первом этаже? Нет, я жил на чердаке, а потом – в мастерской жестянщика, которую в ту зиму совершенно забросили, потому что ее заносило снегом. И теперь я решительно ничего не мог понять.

Я шел и думал обо всем этом, и в душе моей не было ни тени озлобления, зависти или горечи.

Я остановился у лавки, где торговали красками, и стал разглядывать витрину; попытался прочитать затейливые надписи на закрытых коробках, но было слишком темно. Эта моя новая причуда вызвала во мне досаду, я почти сердился, что не могу узнать содержимого этих коробок, стукнул в витрину и пошел прочь. Дальше, на улице, я увидел полицейского, прибавил шагу, подошел к нему вплотную и сказал ни с того ни с сего:

– Сейчас десять часов.

– Нет, сейчас два, – с удивлением возразил он.

– Нет, десять, – настаивал я. – Сейчас десять часов. – Я застонал от злобы, сделал еще несколько шагов вперед, сжал кулак и сказал: – Послушайте, говорю вам, что сейчас – десять.

Несколько мгновений он пытался что-то сообразить, всматривался в меня долго и пристально. Потом сказал тихо:

– Во всяком случае, вам пора домой. Может быть, проводить вас?

– Нет, благодарю. Я несколько засиделся в кофейне. Премного благодарен.

Когда я отошел, он отдал мне честь. Его учтивость меня совершенно обезоружила, и я плакал от обиды, что у меня не нашлось для него пяти крон. Я остановился и долго провожал его глазами, я хлопал себя по лбу и заливался слезами, глядя ему вслед. Я проклинал себя и свою бедность, поносил себя последними словами, измышлял обидные клички, изощрялся в

изыскивании самой отборной брани, осыпал ею себя. Так продолжалось почти до самого дома. Дойдя до ворот, я обнаружил, что потерял ключи.

«Ну ясно! – сказал я себе с горечью. – Как мне было не потерять ключей? Я живу на дворе, где есть конюшня, а наверху – мастерская жестянщика; ворота запираются на ночь, и никто, никто не может их открыть, – как же мне было не потерять ключей? Я промок как собака, проголодался, – самую малость проголодался, я чувствовал странную слабость в коленях – как же мне было не потерять ключей? Почему, в сущности, все жильцы не разъехались, когда мне нужно войти?..» И я смеялся, ожесточенный голодом и немощью.

Я слышал, как лошади на конюшне били копытами, и видел свое окошко наверху; но я не мог открыть ворота и войти. Усталый и раздосадованный, я решил вернуться на пристань и поискать свои ключи.

Снова пошел дождь, и я уже чувствовал, как вода стекает у меня между лопаток. У ратуши мне вдруг пришла прекрасная мысль: я решил обратиться к полиции с просьбой открыть мои ворота. Подойдя к полицейскому, я убедительно попросил его пойти со мной и, если возможно, отпереть замок.

Если б это было возможно, тогда конечно! Но это невозможно, у него нет отмычек. Отмычки только у агентов сысского отделения.

– Как же мне быть?

– Что ж, придется вам переночевать в гостинице.

– Но я, право, не могу ночевать в гостинице: у меня нет денег. Понимаете, я вышел из дому только в кофейню...

Некоторое время мы постояли на ступенях у ратуши. Он соображал, раздумывал, поглядывая на меня. Дождь лил как из ведра.

– Вам придется пойти в дежурную часть и объявить, что у вас нет пристанища, – сказал он.

Объявить, что у меня нет пристанища? Об этом я не подумал. Ей-же-ей, прекрасная мысль! Я принялся благодарить полицейского за совет. Значит, я могу просто войти и сказать, что у меня нет пристанища?

– Да, можете!..

– Фамилия? – спросил дежурный.

– Танген... Андреас Танген.

Я сам не знал, зачем лгу. Мысли беспорядочно металась у меня в голове и помимо воли заставляли меня пускаться на всякие ухищрения; я мгновенно придумал эту чужую фамилию и выпалил ее сразу. Я лгал безо всякой надобности.

– Занятие?

Я очутился в безвыходном положении. Гм! Вначале я думал сказаться жестянщиком, но не рискнул; ведь я назвал себя фамилией, мало подходившей для жестянщика, и, кроме того, у меня были очки на носу. Тогда я набрался нахальства, сделал шаг вперед и сказал торжественно, недрогнувшим голосом:

– Я журналист.

Дежурный вздрогнул, но записал мои слова, а я важно стоял перед ним, словно министр, оказавшийся без пристанища. То, что я помедлил с ответом, не вызвало у дежурного подозрений. Ведь это ни на что не похоже: журналист, стоящий у ратуши, без крова над головой!

– А в какой газете вы сотрудничаете, господин Танген?

– В «Утренней газете», – ответил я. – К сожалению, я вышел сегодня вечером из дому...

– Да полноте! – перебил он и добавил с улыбкой: – Когда молодые люди отлучаются из дому... Это мы понимаем. – Он встал и почтительно поклонился мне, а потом сказал какому-то полицейскому: – Проводите господина в резервную камеру. Спокойной ночи.

От собственной дерзости по спине у меня пробежали мурашки, и, сжав кулаки, я старался ободриться.

– Газ горит только десять минут, – предупредил полицейский еще в дверях.

– А потом тушится?

– Да, потом тушится.

Я сел на кровать и слышал, как ключ повернулся в замке. В камере было светло, она казалась уютной; чувствуя-кров над головой, я с удовольствием прислушивался к шуму дождя. Иметь бы всегда такую уютную комнатку – лучшего я и не желал! На душе у меня стало гораздо спокойней. Сидя на кровати со шляпой в руке и глядя на газовый светильник у стены, я повторял про себя подробности этого первого своего столкновения с полицией. Да, я впервые столкнулся с ними, и до чего же ловко я их провел! Журналист Танген, не угодно ли? Из «Утренней газеты»! Я поразил этого господина в самое сердце «Утренней газетой»! «Да полноте!» Каково? Засиделся в гостях подле собора до двух ночи, забыл дома ключ и бумажник с несколькими тысячами крон! «Проводите господина в резервную камеру...»

Но вот газовый светильник гаснет, гаснет сразу, без предупреждения; я сижу в полной тьме, не видя даже своей руки, не видя белых стен камеры, ничего. Остается одно – лечь спать. И я раздеваюсь.

Но я не мог уснуть, сон не шел ко мне. Некоторое время я лежал, глядя в темноту, в густую, плотную, бездонную и непостижимую. Моя мысль не могла ее охватить. Мрак был слишком густым, он давил меня. Я зажмурился и стал напевать вполголоса, я ерзал на койке, чтобы развеять тягостные чувства; но все было тщетно. Мрак поглощал все мои мысли и ни на мгновение не отступал. А вдруг сам я весь растворился в этом мраке, слился с ним воедино? Я вскакиваю с койки и размахиваю руками.

Нервное возбуждение совершенно завладело мною, и как ни старался я избавиться от него, ничто не помогало. И вот я сидел, обуреваемый престранными фантазиями, баюкал себя, напевал колыбельную песенку, силился себя успокоить, весь в поту от этих усилий. Я пристально вглядывался во мрак, такой глубокий, какого я в жизни не видел. У меня не было ни малейшего сомнения в том, что это совершенно особенная темнота, грозная стихия, с какой еще никто не сталкивался. Мне приходили в голову самые нелепые мысли, все вокруг пугало меня. Вот в стене над койкой небольшое отверстие, оно меня очень занимает. Это дырка от гвоздя, думаю я, это знак, оставленный на стене. Я ощупываю отверстие, дую в него. Стараюсь определить его глубину. Нет, это не простое отверстие, как бы не так; это очень хитрое и таинственное отверстие, его следует остерегаться. Поглощенный этой мыслью, охваченный жгучим любопытством и страхом, я наконец встал с койки, отыскал свой перочинный ножик и измерил глубину отверстия, дабы убедиться, что оно не выходит в соседнюю камеру.

Затем я опять прилег и попытался уснуть, но вместо этого снова начал бороться с мраком. Дождь на дворе перестал, и не слышно было ни звука. Я долго прислушивался и не успокоился, пока не услышал шаги на улице – по всей видимости, это прошел полицейский. Потом я стал щелкать пальцами и смеяться. Ха-ха! Черт возьми! В голову мне пришло новое, небывалое слово. Я приподнимаюсь на койке и говорю: «Кубоа», – такого слова нет в языке, я сам его выдумал. Как и всякое слово, оно состоит из букв, видит бог. Да, брат, ты создал слово... «Кубоа»... оно имеет огромное значение для грамматики.

Это слово четко рисовалось передо мной во мраке.

Теперь я сижу на койке, широко раскрыв глаза, поражаюсь своей находке и смеюсь от радости. Я говорю шепотом: меня ведь могут подслушать, а я хочу сохранить свое изобретение в тайне. От голода мною овладело ликующее безумие: боль надо мной не властна, мысль не знает удержу. Она делает непостижимый скачок, пытаюсь уяснить смысл нового слова, придуманного мною. Нет, оно вовсе не значит «бог» или «Тиволи», и с какой стати должно оно обозначать «зверинец»? Стиснув кулаки, я повторяю: «С какой стати должно оно обозначать зверинец?» Если вдуматься, оно не может значить «висячий замок» или «восход солнца». Но смысл его отыскать не так уж трудно. Я подожду, предоставлю дело времени. А покамест можно поспать.

Я лежу на койке и улыбаюсь молча, ничего не говорю ни «за» ни «против». Но через

несколько минут я прихожу в волнение, новое слово не дает мне покоя, оно то и дело возвращается и, наконец, совершенно завладевает моими мыслями, отчего я становлюсь очень серьезен. Я уже твердо решил, чего оно не должно обозначать, но не определил, что же оно все-таки значит. «Это – несущественный вопрос!» – громко говорю я себе, беру сам себя за руку и повторяю, что это – несущественный вопрос. Слово, с божьей помощью, найдено, и это – главное. Но мысль о том, что оно может значить, не оставляет меня, мешает уснуть; перед столь редкостным словом я безоружен. Наконец я снова сажусь на койку, сжимаю обеими руками голову и говорю: "Нет, положительно невозможно, чтобы оно значило «эмиграция» или «табачная фабрика»! Если б оно могло значить что-нибудь в этом роде, я давно уже остановился бы на этом и сделал соответствующие выводы. Нет, это слово, собственно, рождено для обозначения чего-то *духовного*: чувства, душевного состояния – как же я до сих пор этого не понял? Я роюсь в памяти, ищу какое-нибудь духовное понятие. И вдруг мне чудится, будто я слышу чей-то голос, будто кто-то вмешивается в мои рассуждения, и я говорю сердито: «Это еще что такое? Вот идиот, каких свет не видел! Как может оно значить „пряжа“? Пошел ты к черту!» С какой стати мне соглашаться, что оно значит «пряжа», когда я с самого начала был против этого? Ведь слово придумал я и имею полное право придать ему смысл, какой пожелаю. А я, кажется, еще не высказал своего мнения...

Но мысли мои становились все иступленней. Наконец я соскочил с койки и стал искать водопроводный кран. Пить мне не хотелось, но голова была в жару, и меня тянуло к воде. Напившись, я снова лег и решил уснуть во что бы то ни стало. Закрыв глаза, я принудил себя успокоиться. После этого я пролежал несколько минут, не шелохнувшись. Я был в испарине и чувствовал буйные толчки крови у себя в жилах. Нет, подумать только, как прекрасно это получилось, что он стал искать денег в бумажном кульке! Он кашлянул разок. Небось он до сих пор там бродит? Сидит на моей скамейке?.. Перламутровая синева... Корабли...

Я открыл глаза. Что было толку жмурить их, раз я не мог уснуть! Все тот же мрак окружал меня, все та же бездонная черная вечность, сквозь которую не могла пробиться моя мысль. С чем бы его сравнить? Я сделал отчаянное усилие, чтобы приискать самое черное слово для обозначения этого мрака, столь ужасающе черное слово, чтобы мой рот почернел, произнося его. Господи, как темно! И я снова начинаю думать о гавани, о кораблях, о черных чудищах, что подстерегают меня. Они хотели заманить меня, схватить и увлечь за моря и земли, за черные, никем не виданные страны. Мне кажется, будто я на корабле, я уплыл в море, воспарил к облакам и падаю, падаю... Я издаю отчаянный крик и стискиваю руками края койки, это был опасный полет, я со свистом летел вниз, как мешок с камнями. И когда руки мои ощутили твердые края койки, я не почувствовал себя спасенным. «Вот она, смерть, – сказал я себе. – Теперь ты умрешь!» Некоторое время я размышлял о своей неизбежной смерти. Потом приподнялся на койке и строго спросил: «А кто сказал, что ты должен умереть?» Раз я сам выдумал слово, то имею полное право решить, что оно должно значить... Я слышал свой голос, слышал собственные фантазии. Это было безумие, бред, порожденный слабостью и истощением, но я не лишился чувств. И вдруг меня пронзила мысль, что я сошел с ума. Охваченный страхом, я соскочил с койки. Шатаясь, пошел к двери, попытался ее открыть, несколько раз ударился в нее всем телом, чтобы ее высадить, потом уперся лбом в стену, громко стонал, кусая себе пальцы, плакал, бормотал проклятия...

Все было тихо; только мой голос метался по камере, бессильный преодолеть каменные стены. Ноги больше не держат меня. И я падаю на пол. Высоко над собою я смутно различаю в стене серый квадрат, он приобретает беловатый оттенок, и меня осеняет предчувствие – это дневной свет. Ах, с каким облегчением я вздохнул! Я распростерся на полу и плакал, радуясь этому проблеску света, это были слезы благодарности, я посылая окну поцелуи и безумствовал. Но в это мгновение я сознавал, что делаю. Вся моя подавленность сразу прошла, отчаяние и боль исчезли, мне ничего больше не было нужно, я не мог придумать ни единого желания. Я сидел на полу, скрестив на груди руки, и терпеливо ждал наступления

дня.

«Какая ужасная была ночь! Странно, что никто не слышал шума», – с удивлением думал я. Но ведь я был в резервной камере, расположенной гораздо выше всех остальных. Министр, очутившийся без пристанища, если можно так выразиться. У меня было теперь прекрасное, ничем не омраченное настроение, я пристально смотрел на окно, за которым брезжил рассвет, и забавлялся, воображая, будто я важная особа, величал себя фон Тангеном и старался выражаться, как подобает сановнику. Фантазия моя по-прежнему работала, но я стал гораздо спокойней. Проклятая рассеянность, из-за нее я забыл дома бумажник. Не окажет ли мне господин министр великую честь, не позволит ли он предложить ему постель? С необычайной важностью, очень церемонно, я подошел к койке и лег.

Стало уже так светло, что я мог различать стены камеры, а немного погодя разглядел и тяжелую ручку двери. Это развлекло меня; однообразный мрак, столь раздражающе плотный, что я не видел самого себя, рассыпался; кровь в моих жилах текла спокойней, и вскоре я почувствовал, что у меня смыкаются глаза.

Меня разбудил стук в дверь. Я вскочил и поспешно оделся; мое платье еще не высохло со вчерашнего вечера.

– Пожалуйста вниз, к дежурному, – сказал полицейский.

«Значит, снова предстоят всякие формальности!» – со страхом подумал я.

Я спустился вниз, в большую комнату, где сидели тридцать или сорок бездомных людей. Их поочередно выкликали по списку и давали им талоны на обед. Дежурный то и дело спрашивал стоявшего рядом полицейского:

– Талон выдан? Не забывайте выдавать талоны. Ведь они, должно быть, голодны.

Я смотрел на все эти талоны и мечтал тоже заполучить один.

– Андреас Танген, журналист!

Я шагнул вперед и поклонился.

– Послушайте, вы-то каким образом сюда попали?

Я объяснил, как было дело, рассказал ту же историю, что и вчера, я лгал, не сморгнув глазом, лгал совершенно искренне: засиделся в кофейне, потерял ключ...

– Ах, так, – сказал он, и улыбнулся. – Вон оно что! Хорошо ли вас тут устроили?

– Как министра, – ответил я. – Как министра!

– Очень рад! – сказал он, вставая. – До свидания!

Я ушел.

И мне бы, и мне бы талончик! Я не ел целых три дня! Хоть бы кусок хлеба! Но никто не предложил мне талон, а попросить я не решился. Это сразу вызвало бы подозрение. Стали бы копаться в моих личных делах и доискиваться, кто я такой в действительности; и арестовали бы меня за ложные показания. Высоко подняв голову и сунув руки в карманы, я вышел из ратуши гордо, словно миллионер.

Солнце уже пригревало, было десять часов, площадь заполнили экипажи и пешеходы. Куда пойти? Я хлопаю по карману, нащупываю свою рукопись, – в одиннадцать часов попытаюсь заглянуть к редактору. Стоя у балюстрады, я наблюдаю, как подо мной кипит жизнь: от моей одежды идет пар. Голод снова проснулся, болью сводит грудь, пробегает судорогой по телу, слабо, но ощутимо пронзает меня. Неужели мне не найти ни друга, ни знакомого, – никого, к кому бы я мог обратиться? Я роюсь в памяти, стараюсь придумать, кто дал бы мне десять эре, но не нахожу такого человека. А день так чудесен! Вокруг столько тепла и света; небо растеклось над головой, как море, опрокинутое над горной грядой...

Незаметно для себя я пошел к дому.

Я был очень голоден и, подобрав с земли щепку, стал жевать ее. Это помогло. Как я не подумал об этом раньше!

Ворота были отперты, конюх, по обыкновению, пожелал мне доброго утра.

– Хорошая сегодня погодка! – сказал он.

– Да, – отвечал я.

И больше не нашелся, что сказать. Не попросить ли у него пять крон? Он охотно даст, если только у него есть. К тому же я однажды написал по его просьбе письмо.

Он стоял, явно намереваясь что-то сказать.

– Хорошая погодка, да. Гм... А мне сегодня платить хозяйке, так не будете ли вы добры ссудить мне пять крон? Всего на несколько дней. Вы ведь однажды уже выручали меня.

– Право, никак не могу, Йене Олай, – сказал я. – Сейчас у меня нет. Может быть, попозже, к вечеру...

И я потащился по лестнице к себе.

Я бросился на постель и стал смеяться. Какое счастье, что он меня опередил! Моя честь спасена. Пять крон – бог с тобою, любезный! С таким же успехом ты мог бы попросить у меня пять акций общественной столовой или загородную усадьбу.

При мысли об этих пяти кронах я смеялся все громче и громче. Ну не молодчина ли я? Пять крон! Нашел подходящего человека! Я не мог совладать со своей веселостью, она захватила меня всего. Тьфу, черт возьми, как пахнет съестным! Запах жаркого с самого обеда, тьфу! Я распахиваю окно, чтобы выветрился этот отвратительный запах. Человек, половину бифштекса! Обращаясь к столу, к своему сломанному столу, который приходится поддерживать коленями, когда пишешь, я говорю с низким поклоном:

– Я Танген, министр Танген. К сожалению, я немного засиделся... и забыл ключ от ворот...

И мысли мои, вырвавшись на волю, снова понеслись как безумные. Я сознавал, что говорю бессвязно, и внимательно прислушивался к своим словам. Я сказал себе: «Вот ты снова ведешь бессвязные речи!» И все же я ничего не мог с собой поделать. Я не спал и все же разговаривал как во сне. Голова моя была легка, я не чувствовал ни боли, ни тяжести, и ни единое облачко не омрачало душу. Я плыл по воле стихий.

Входите! Да входите же! Как видите, здесь все сделано из рубина. Илаяли, Илаяли! Красивая, дивная шелковая тахта! Как бурно дышит ее грудь! Целуй меня, мой возлюбленный! Еще! Еще! Твои руки золотисты, как янтарь, твои уста пылают... Человек, я заказал бифштекс...

Солнце светило в окно, я слышал, как лошади внизу хрупали овсом. А я грыз свою щепку и радовался от души, как ребенок. То и дело я ощущивал свою рукопись; я ни разу не подумал о ней, но чутье подсказывало мне, что она здесь, моя кровь напоминала про нее.

Она промокла, я развернул ее и положил на солнце. Потом начал расхаживать взад-вперед по комнате. Какое вокруг меня удручающее зрелище! На полу мелкие растоптанные обрезки жести, и нет ни одного стула, ни одного гвоздя на голых стенах. Все отправлено в лавчонку к процентщику, все проедено. Несколько листков бумаги на столе, покрытые толстым слоем пыли, составляли все мое имущество; старое, зеленое одеяло на кровати мне одолжил Ханс Паули много недель тому назад. Ханс Паули! Я щелкаю пальцами. Ханс Паули Петтерсен поможет мне! И я стараюсь вспомнить его адрес. Как это я мог забыть Ханса Паули! Он, конечно, очень обидится, что я не сразу обратился к нему. Я быстро надеваю шляпу, собираю исписанные листки и сбегая вниз по лестнице.

– Послушайте, Йене Олай, – крикнул я в двери конюшни. – Я твердо уверен, что вечером смогу вам помочь!

Подойдя к ратуше, я вижу, что уже двенадцатый час, и решаю немедленно отправиться в редакцию. У редакционной двери я останавливаюсь, чтобы взглянуть, в порядке ли сложены страницы рукописи. Я тщательно разглаживаю ее, снова кладу в карман и стучу. Когда я вхожу, мне слышно, как бьется мое сердце.

Человек-Ножницы, по обыкновению, был занят своим делом. Я робко справился о редакторе. Он не ответил. Все сидел да отыскивал мелкие новости в иногородних газетах.

Я повторил свой вопрос, подойдя поближе.

– Редактор еще не приходил, – наконец-то отвечают Ножницы, даже не взглянув на меня.

- А когда он придет?
- Не берусь сказать, положительно не берусь.
- До какого времени открыта редакция?

Я не получил никакого ответа и вынужден был уйти. Человек-Ножницы во время нашего разговора ни разу не посмотрел мне в лицо; он узнал меня по голосу. «На каком же ты здесь дурном счету, – подумал я, – если тебе даже ответить не хотят. Неужели так распорядился редактор?» Правда, после своего знаменитого фельетона за десять крон я засыпал его статьями, бегал к нему почти каждый день, приносил негодную стряпню, которую ему приходилось читать, а потом возвращать обратно. Пожалуй, он решил положить этому конец и принял свои меры... Я пошел к центру города.

Ханс Паули Петтерсен, студент из крестьян, жил на чердаке пятиэтажного дома, – стало быть, Ханс Паули Петтерсен был бедный человек. Но если у него найдется крона, он не пожалеет ее. Я могу считать, что она у меня в руке. Идя к нему, я не переставал радоваться этой кроне и был уверен, что получу ее. Дверь подъезда была заперта, пришлось позвонить.

– Я хотел бы видеть студента Петтерсена, – сказал я и попытался войти. – Я знаю, где он живет.

– Студента Петтерсена? – повторила горничная. – Того, что жил на чердаке? Да ведь он переехал.

Она не знала, куда именно; однако он просил пересылать письма к Хермансену на Тульбудгатен, номер такой-то.

Обнадеженный, я отправляюсь на Тульбудгатен за адресом Ханса Паули. Больше мне не на что было рассчитывать, приходилось цепляться за последнее. Я прошел мимо новостройки, где плотники строгают доски. Я выбрал из кучи две чистые стружки, сунул одну в рот, а другую спрятал в карман, про запас, и продолжал свой путь. Я стонал от голода. В витрине булочной я увидел хлеб необычайной величины, ценою в десять эре, самый большой хлеб, какой можно купить за эти деньги...

– Я хотел бы узнать адрес студента Петтерсена.

– Улица Бернта Анкера, дом десять, на чердаке... Вы идете туда? В таком случае не прихватите ли для него вот эти письма?

И я отправляюсь в город той же дорогой, какой пришел, снова прохожу мимо плотников, которые теперь сидят, поставив котелки на колени, и едят вкусный, горячий обед, мимо булочной, где в витрине все так же лежит хлеб, и когда я, наконец, добираюсь до улицы Бернта Анкера, то едва не падаю от истощения. Дверь не заперта, и я по длинной крутой лестнице взбираюсь на чердак. Я вынимаю письма из кармана, чтобы, войдя, сразу обрадовать Ханса Паули. Он, конечно, не откажется протянуть мне руку помощи, когда я изложу ему все обстоятельства, – конечно, нет, у Ханса Паули отзывчивое сердце, я всегда так считал...

На двери была приколотая карточка: «Х. – П.Петтерсен, студ. богосл. уехал на родину».

Я сажусь, сажусь прямо на голый пол, не в силах шевельнуться от усталости, обессилев от истощения. Я машинально повторяю несколько раз: «Уехал на родину! Уехал на родину!» Потом умолкаю. Глаза мои сухи, никаких мыслей, никаких чувств нет во мне. Я с недоумением рассматриваю письма и сижу без движения. Проходит десять минут, а может быть, все двадцать или даже больше, но я все сижу на месте, даже не пошевелившись. Это тупое оцепенение подобно сну. Вдруг я слышу шаги на лестнице, встаю и говорю:

– Тут жил студент Петтерсен, я принес ему два письма.

– Он уехал, – отвечает женщина. – Но он вернется после каникул. А письма, если хотите, можете отдать мне.

– Спасибо, вы очень любезны, – сказал я. – Тогда он возьмет их у вас, как только вернется. Ведь письма, наверное, очень важные. До свиданья.

Выйдя из дома, я остановился посреди улицы и, сжав кулаки, произнес громко:

– Вот что я тебе скажу, милосердный боже: теперь я знаю, каков ты есть! – И в

бешенстве, стиснув зубы, я погрозил небу кулаком. – Черт меня побери, если я этого не знаю!

Пройдя еще несколько шагов, я снова останавливаюсь. Внезапно, переменив тон, я смиренно складываю руки, склоняю голову и кротким, елейным голосом спрашиваю:

– А молил ли ты Его, сын мой?

Это прозвучало фальшиво.

– Его – с большой буквы, – продолжал я. – С буквы Е, огромной, как колокольня. Я спрашиваю снова: – Просил ли ты Его, сын мой? – и, понурив голову, я ответил печально: – Нет!

И это тоже прозвучало фальшиво.

Ты не умеешь лицемерить, глупец! Ты должен бы сказать: «Да, я взывал к господину богу моему!» И ты должен бы произнести эти слова жалостно, как можно жалостней. Ну-ка, еще разок! Вот теперь уже лучше. Но при этом надо вздыхать, вздыхать тяжело, как измученная лошадь. Вот так!

Я иду и поучаю себя, а когда это мне надоедает, сердито топаю ногами и обзываю себя дубиной, к удивлению прохожих, которые оборачиваются и глядят на меня.

Все это время я жевал стружку и не останавливаясь шел по улице. Я даже не заметил, как очутился на вокзальной площади. Часы на храме Спасителя показывали половину второго. Я постоял немного в раздумье. На лбу у меня выступила испарина, пот заливал глаза.

– А не пойти ли на пристань? – сказал я себе. – Разумеется, если у тебя есть время.

Я поклонился самому себе и пошел на пристань.

Корабли стояли на рейде, море зыбилось, сверкая под солнцем. Здесь царило оживление, раздавались пароходные свистки, сновали грузчики с ящиками на спинах, с баржей доносились веселые песни. Неподалеку от меня какая-то женщина торговала пирожками, она клевала почернелым носом над своим товаром; столик перед нею завален лакомствами, и я презрительно отворачиваюсь. Она всю пристань завоняла: тьфу, проветрите набережную! Я обращаюсь к господину, сидящему рядом со мной, и убедительно доказываю ему, как неуместно торговать пирожками везде и всюду... Вы не согласны? Хорошо, однако не станете же вы спорить, что... Но господин почувствовал неладное, он не дал мне договорить до конца, встал и ушел. Я тоже встал и последовал за ним, твердо решив доказать ему, что он заблуждается.

– Это недопустимо также и в санитарном отношении, – сказал я, похлопав его по плечу.

– Извините, я приезжий и ничего не понимаю в санитарии, – сказал он, глядя на меня в ужасе.

– Ну, если вы приезжий, тогда дело другое... – Не могу ли я быть вам полезен? Не показать ли вам город? Нет? Я с удовольствием сделал бы это безо всякого вознаграждения...

Но он явно хотел избавиться от меня и быстро перешел на другую сторону улицы.

Я вернулся к своей скамейке и снова сел. Я был очень огорчен, и шарманка, громко заигравшая поодаль, еще больше расстраивала меня. Отрывисто звякая, она наигрывала что-то из Вебера, и под этот аккомпанемент маленькая девочка пела печальную песенку... Надрывные пискливые звуки шарманки пронизывают меня, нервы мои дрожат, точно вторят этим звукам, и вот я уже тихонько напеваю что-то жалобное, откинувшись на спинку скамьи. Каких только ощущений не испытывает голодный человек! Я чувствую, как эти звуки завладевают мною, я растворяюсь в них, устремляюсь потоком, отчетливо сознаю, что я устремился потоком ввысь, воспарил высоко над горами, несясь в пляске над лучезарными далями...

– Подайте эре! – говорит девочка, которая пела под шарманку, и протягивает металлическую тарелочку. – Всего только эре!

– Сейчас, – отвечаю я безотчетно и, вскочив, шарю по карманам.

Но девочка думает, что я просто смеюсь над ней, и уходит, не сказав более ни слова.

Это бессловесное смирение я не в силах вынести; если б она обругала меня, мне было бы гораздо легче; мне стало больно, и я окликнул ее:

– У меня нет ни единого эре, но я вспомню о тебе скоро, быть может, завтра же. Как тебя зовут? Какое красивое имя, я его не забуду. Итак, до завтра...

Но я прекрасно понимал, что она не поверила мне, хотя промолчала, и я плакал от отчаяния, что эта маленькая уличная девочка мне не верит. Я еще раз окликнул ее, быстро расстегнул куртку и хотел отдать ей свой жилет.

– погоди минутку, – сказал я. – Вот тебе в залог...

Но жилета на мне не было.

С чего это я подумал о жилете? Ведь вот уж которую неделю я хожу без него. Что со мной? Испуганная девчушка поспешно попятилась от меня. Я не мог ее более удерживать. Вокруг собирався народ, все громко смеялись, полицейский, раздвигая толпу, шел узнать, что случилось.

– Ничего, – говорю я. – Решительно ничего не случилось! Я просто хотел отдать свой жилет вон той девочке... или, верней, ее отцу... Вы напрасно смеетесь. Дома у меня есть еще один.

– Нечего безобразничать на улице! – говорит полицейский. – Марш отсюда. – И он толкает меня. А потом кричит мне вдогонку: – Пойдите, это ваши бумаги?

– Да, черт возьми, это моя статья для газеты, очень важная рукопись! Как я мог допустить такую небрежность...

Я беру рукопись, проверяю, в порядке ли она, и, не задерживаясь ни на минуту, даже не оглядываясь, иду в редакцию. Часы на храме Спасителя показывают четыре.

Редакция заперта. Я спускаюсь по лестнице, дрожа, как вор, и в нерешимости останавливаюсь у подъезда. Что мне теперь делать? Я прислоняюсь к стене, смотрю себе под ноги, на камни, и думаю. У моих ног лежит блестящая булавка, я нагибаюсь и поднимаю ее. Что, если срезать пуговицы с моей куртки, много ли мне дадут за них? Но нет, это напрасный труд. Пуговицы остаются пуговицами; однако я внимательно осмотрел их и нашел, что они почти новые. Во всяком случае, это счастливая мысль, я срежу их перочинным ножом и отнесу в заклад. Надежда выручить денег за эти пять пуговиц тотчас оживила меня, и я сказал: «Ну вот, дело налаживается!» Радость охватила меня, я тотчас принялся срезать пуговицы одну за другой. При этом я говорил безмолвно:

«Да, я, видите ли, несколько обнищал, у меня временные затруднения... Вы говорите, они потерты? Полноте. Уверяю вас, никто на свете так не бережет пуговицы, как я. Куртка у меня всегда расстегнута, доложу я вам; так уж у меня заведено, я привык... Ну, если вам не угодно, что ж... Но мне нужно выручить за них хотя бы десять эре... Нет, господа, кто говорит о вас? Отвяжитесь, сделайте милость, оставьте меня в покое... Что ж, прекрасно, зовите полицию. Я подожду, пока вы сходите за полицейским. И ничего у вас не украду... Ну хорошо, до свидания, до свидания! Стало быть, моя фамилия Танген, – я несколько засиделся...»

На лестнице раздаются шаги. Я сразу возвращаюсь к действительности; это Человек-Ножницы, и, узнав его, я быстро прячу пуговицы в карман. Он хочет пройти мимо, он даже не отвечает на мой поклон и вдруг начинает усердно разглядывать свои ногти. Я останавливаю его и справляюсь про редактора.

– Он не приходил.

– Вы лжете! – говорю я. И с наглостью, поразившей меня самого, продолжаю: – Мне необходимо с ним переговорить. Неотложное дело. Важные сведения.

– А не можете ли вы сказать мне?

– Нет! – отрезал я и смерил его взглядом.

Это возымело действие. Он тотчас пригласил меня наверх и отпер дверь. Волнение душило меня. Чтобы собраться с духом, я крепко стиснул зубы, постучался и вошел в кабинет редактора.

– Здравствуйте! Это вы? – приветствовал он меня. – Садитесь, пожалуйста.

Если б он сразу указал мне на дверь, мне было бы гораздо легче; я почувствовал, что слезы навернулись мне на глаза, и сказал:

– Прошу извинения...

– Садитесь, – повторил он.

Я сел и объяснил, что написал новую статью, которую мне очень важно поместить в его газете. Я много работал над нею, она стоила мне больших усилий.

– Я ее прочту, – сказал он и взял статью. – Все, что вы пишете, стоит вам больших усилий, но вы слишком порывисты. Если б вы могли быть немного хладнокровнее! У вас слишком много пыла. Но все-таки прочту.

И он снова склонился над своим столом.

А я все сидел. Нельзя ли попросить у него крону? Объяснить, откуда этот мой всегдашний пыл? Он, конечно, поможет мне; ведь это не в первый раз.

Я встал. Гм! Однако когда я был у него в последний раз, он жаловался на денежные затруднения, даже посылал куда-то кассира за мелочью для меня. Пожалуй, и теперь будет то же. Нет, это недопустимо. И разве я не видел, что он занят работой?

– Вам угодно еще что-нибудь? – спросил он.

– Нет! – сказал я, стараясь придать своему голосу твердость. – Когда прикажете зайти?

– Ну, как-нибудь при случае, – ответил он. – Скажем, дня через два.

Я не мог выговорить свою просьбу. Казалось, любезность этого человека безгранична, я не мог ее не оценить. Лучше уж умереть с голоду. И я ушел.

Я не пожалел, что ушел из редакции, так и не попросив крону, даже за дверь, когда голод вновь начал терзать меня. Я вынул из кармана вторую стружку и сунул ее в рот. Мне опять стало легче. Почему я не делал этого раньше?

– Стыд и срам! – громко сказал я. – Неужели тебе могло прийти в голову просить у этого человека крону и ставить его в неловкое положение? – И я стал строго выговаривать себе за свое бесстыдство. – Право, в жизни не слыхивал ничего гнуснее! – сказал я. – Набрасываться на человека, норовить чуть ли не выцарапать ему глаза только потому, что тебе, презренному псу, нужна корона! Убирайся отсюда. Живо! Живо, дурак! Вот я тебе покажу!

И чтобы наказать себя, я пустился бегом, пробежал улицу за улицей, гнал себя вперед, мысленно понукал, бешено покрикивал, когда бег замедлялся. Тем временем я очутился уже на Пилестредет. Когда я наконец остановился, готовый заплакать от ярости, что не могу больше бежать, все мое тело содрогалось, и я присел на какую-то ступеньку.

– Нет, погоди! – сказал я. И чтобы как следует наказать себя, снова встал и заставил себя стоять, и смеялся над собою, и радовался собственному бессилию. Наконец, через несколько минут, я кивнул и позволил себе присесть; но при этом выбрал самое неудобное место на ступеньке.

Господи, как сладостен был отдых! Я вытер пот с лица и глубоко вдыхал свежий воздух. Как я бежал! Но жалости к себе я не чувствовал – так мне и надо. Зачем вздумал просить крону? Теперь вот получай! Потом я смягчился, заговорил с собой ласково, увещевал себя, как мать ребенка. Это меня растрогало, ведь я так устал, был обессилен, и я заплакал. Это был тихий, затаенный плач, внутреннее рыдание без слез...

Я просидел на одном месте с четверть часа или даже более. Люди проходили мимо, но никто не трогал меня. Вокруг играли дети, на дереве, по другую сторону улицы, пела какая-то птичка.

А потом ко мне подошел полицейский.

– Зачем вы здесь сидите? – спросил он.

– Зачем сижу? – повторил я. – Просто так, для собственного удовольствия.

– Я слежу за вами целых полчаса, – сказал он. – Ведь вы сидите здесь полчаса?..

– Да, около того, – ответил я. – Ну и что?

Я вскочил и пошел прочь.

Выйдя на площадь, я остановился и стал глядеть вдоль улицы. Для собственного

удовольствия! Разве это ответ? Надо было сказать как можно жалостней: я сижу, потому что устал. Дурак ты дурак, никогда не научишься ты притворяться. Потому что я устал! И дышать надо было тяжело, как загнанная лошадь.

Подойдя к пожарному депо, я опять остановился, потому что в голову мне взбрела новая фантазия. Я щелкнул пальцами, громко захохотал, к удивлению прохожих, и сказал:

– Нет, тебе, право, нужно сходить к пастору Левисону. Непременно. Попытка не пытка. Терять-то нечего. Да и погода прекрасная.

Я зашел в книжный магазин Паши, справился в адресной книге, где живет пастор Левисон, и отправился к нему.

– Ну, теперь надо взять себя в руки, – сказал я. – Хватит шуток! Совесть, говоришь? Вздор, ты слишком беден, чтобы носиться со своей совестью. Ты голоден, ты идешь по важному делу, просить о самом необходимом. Ты должен склонить голову к плечу и говорить проникновенным голосом. Не хочешь? В таком случае я тебе больше не друг, так и знай. Вот что: ты истерзан тревогой, борешься по ночам с силами мрака и с огромными, безмолвными чудищами, погибаешь от голода, жаждешь вина и молока, но не имеешь ничего. Дела твои плохи. Вот ты стоишь, и ничегошеньки нет у тебя за душой. Но ты, слава богу, веруешь в милосердие, ты все-таки не утратил веры! И чтобы верить в милосердие, ты должен сложить руки и быть хитрее самого сатаны. А Маммону ты ненавидишь во всякой личине; другое дело – получить молитвенник и две кроны на память... Я остановился у двери пастора и прочел: «Прием от 12 до 4».

– А теперь без глупостей! – сказал я. – Дело нешуточное! Итак, склони голову к плечу...

Я позвонил.

– Нельзя ли мне видеть пастора? – сказал я горничной; но не мог добавить: «во имя господина».

– Он ушел, – ответила она.

Ушел! Ушел! Планы мои разом рухнули, все заготовленные слова оказались ни к чему. Что было пользы идти так далеко? Я не мог двинуться с места.

– У вас важное дело? – спросила горничная.

– О нет! – ответил я. – Совсем пустяковое! Просто сегодня такая прекрасная погода, поэтому я решил прогуляться и засвидетельствовать свое почтение пастору.

Я не двигался, она тоже. Я нарочно выпятил грудь, чтобы обратить ее внимание на булавку, которой была заколота моя куртка; я молил ее взглядом понять, зачем я пришел; но бедняжка ничего не поняла.

– Да, погода прекрасная. А фру тоже нет дома?

– Фру дома, но у нее ревматизм, она лежит на диване и не может подняться... Не угодно ли мне оставить записку?

– Ах, нет! Просто я иногда выхожу прогуляться, подышать свежим воздухом. А сегодня такой чудесный день.

И я поплелся обратно. Что было толку болтать? К тому же у меня начала кружиться голова; это была не шутка, я мог упасть. Прием от 12 до 4; я опоздал на целый час, время милосердия истекло!

Дойдя до площади, я присел у церкви на скамейку. Боже, каким мрачным представлялось мне будущее! Я не плакал, у меня не было на это сил; измученный до предела, я сидел бесцельно и неподвижно, сидел, терзаемый голодом. Грудь моя в особенности пылала, внутри нестерпимо жгло. Я пробовал жевать стружку, но это больше не помогало мне; челюсти мои устали от напрасной работы, и я уже не утруждал их. Я покорился. К тому же кусок почерневшей апельсиновой корки, который я подобрал на улице и тотчас же принялся жевать, вызвал у меня тошноту. Я был болен; на руках у меня вздулись синие жилы.

Чего я, собственно, ждал? Целый день я пытался раздобыть крону, которая могла поддержать во мне жизнь на несколько лишних часов. В конце концов какая разница,

свершится ли неизбежное днем раньше или днем позже? Порядочный человек на моем месте давным-давно пошел бы домой, лег и смирился. Мои мысли вдруг прояснились. Теперь я должен умереть. Стояла осень, мир был скован дремотой. Я испытал все средства, прибегнул ко всем источникам, какие знал. Я носился с этой мыслью и всякий раз, когда во мне еще брезжила надежда, с грустью шептал: «Глупец, ты уже умираешь!» Предстояло написать кое-какие письма, привести все в порядок, подготовиться. Нужно было хорошенько вымыться и убрать постель. Под голову я положу два листа белой писчей бумаги – это самое чистое, что у меня оставалось. А зеленым одеялом я мог бы...

Зеленое одеяло! Я вдруг встрепенулся, кровь бросилась мне в голову, и сердце мое сильно забилося. Я встал со скамейки и спешу вперед, жизнь снова пробудилась во мне, и я то и дело повторяю отрывисто: «Зеленое одеяло! Зеленое одеяло!» Я иду все быстрее, точно стараюсь кого-то догнать, и вскоре снова оказываюсь в своем жилище – мастерской жестянщика.

Не мешкая и не колеблясь в своем решении, я подхожу к кровати и скатываю одеяло Ханса Паули. Какая прекрасная мысль пришла мне в голову, теперь я спасен! Я преодолел свою постыдную нерешимость, я махнул на все рукой. Ведь я не святой, не какой-нибудь добродетельный идиот. Я в здравом уме...

Взяв одеяло под мышку, я отправляюсь на Стенерсгатен, в дом номер пять.

Я постучал и вошел в большую незнакомую комнату. Дверной колокольчик у меня над головой прозвенел громко и отчаянно. Из соседней комнаты вышел какой-то человек с набитым ртом и встал за прилавок.

– Дайте мне полкроны за эти очки! – сказал я. – Через несколько дней я их непременно выкуплю.

– Что? Ведь оправка просто стальная?

– Да.

– Нет, я не могу их взять.

– Разумеется. Ведь я, собственно, пошутил. Вот у меня тут одеяло, которое, в сущности, мне больше не нужно, и я хотел бы от него избавиться.

– К сожалению, у меня целый склад одеял, – ответил он, а когда я развернул одеяло, лишь мельком взглянул на него и воскликнул: – Прошу прощения, но это мне тоже без надобности.

– Я нарочно сразу показал вам изнанку, – с лицевой стороны оно гораздо лучше.

– Все равно я его не возьму, ведь никто не даст за него даже десяти эре.

– Понятное дело, оно ничего не стоит, – согласился я. – Но мне казалось, что вместе с другим старым одеялом его можно продать.

– Нет, нет, напрасный труд.

– Может быть, дадите хоть двадцать пять эре? – спросил я.

– Нет, право, я не могу его взять, милейший, оно мне совершенно ни к чему.

Я снова сунул одеяло под мышку и пошел домой.

Как ни в чем не бывало, я разостлал одеяло на кровати, тщательно расправил его, как будто и не носил никуда. Решившись на эту авантюру, я, кажется, был не в своем уме; и чем больше я думал об этом, тем нелепее представлялся мне мой поступок. Очевидно, это был приступ слабости, какое-то внутреннее отупение. Но я почувствовал, что это западня, понял, что теряю разум, и первым делом предложил процентщику очки. А теперь я был так рад, что не совершил преступления, которое отравило бы последние часы моей жизни.

Я снова пошел бродить по городу.

У храма Спасителя я опять сел на скамейку, свесил голову на грудь, истерзанный недавними волнениями, больной и изнуренный голодом. А время шло.

Я присидел час под открытым небом; здесь было светлее, чем дома; кроме того, мне казалось, что на свежем воздухе не так мучительно ныла грудь; я не спешил вернуться домой.

Я дремал, раздумывал, и мне было очень тяжело. Я подобрал камешек, обтер его, сунул

в рот и стал сосать; при этом я почти не шевелился и даже не моргал. Мимо проходили люди, слышался грохот карет, стук подков, голоса.

Отчего бы не попытаться все-таки счастья с пуговицами? Конечно, из этого ничего не выйдет, и, кроме того, я положительно болен. Но если хорошенько все взвесить, то ведь все равно по дороге домой я пройду мимо лавки процентщика, того самого, к которому я так часто заглядывал.

Наконец я встал и медленно, бессильно поплелся по улицам. Лоб у меня горел, начиналась лихорадка, и я спешил, как мог. Я снова прошел мимо булочной, где в витрине был выставлен хлеб.

– Ну вот, остановимся здесь, – сказал я с деланной решимостью. – А если войти и *попросить* кусок хлеба? – Эта мысль была мимолетна, она вспыхнула, как искорка; в действительности я этого не думал. – Тьфу! – прошептал я, покачал головой и пошел дальше, смеясь над самим собой. Я отлично знал, как бесполезно было заходить в лавку с этой просьбой.

В переулке влюбленные шептались у ворот; чуть подальше девица высунулась в окно. Я шел так медленно и осторожно, что могло показаться, будто я чего-то хочу, – и девица вышла на улицу.

– Как поживаем, старина? Что такое, ты болен? Господи, да на тебе лица нет!

И девица быстро ушла в дом.

Я тотчас же остановился. Что значит: лица нет? Неужели я умираю? Я коснулся рукою щек: да, конечно, я очень худ. Щеки ввалились, они были как два блюдца. Ах ты господи! И я поплелся дальше.

Потом я снова остановился. Должно быть, моя худоба чудовищна. И глаза совсем ввалились. Интересно, на кого я похож? Разнесчастная моя судьба, живой человек превратился от голода в этакую развалину! Меня снова охватило бешенство, это была словно последняя вспышка, судорога. Стало быть, лица нет? У меня хорошая голова, второй такой не сыскать во всей стране, и пара кулаков, которые – боже избави! – могли бы стереть человека в порошок, и я гибну от голода в самом центре Христианин! Разве это мыслимо? Я жил в свинарнике и надрывался с утра до ночи, как черный вол. От чтения у меня не стало глаз, мозг иссох от голода, – а что я получил взамен? Даже уличные девки ужасаются и кричат «господи!» при виде меня. Но теперь этому придет конец, – понятно тебе? – придет конец, черт возьми!.. Я трясся от бешенства и скрежетал зубами, слабость захлестывала меня, в глазах стояли слезы, с губ слетали проклятия, и так я плелся вперед, не обращая внимания на прохожих. Я снова начал мучить себя, намеренно стучался лбом о фонарные столбы, глубоко вонзал ногти в ладони, в безумии кусал себе язык, когда начинал говорить бессвязно, и хохотал всякий раз, когда мне было больно.

– Да, но что же мне делать? – говорю я наконец самому себе. И несколько раз топаю ногой, повторяя: – Что же делать?

Какой-то случайный прохожий говорит мне с улыбкой:

– Попросите, чтобы вас арестовали.

Я посмотрел ему вслед. Это был известный гинеколог по прозвищу «Герцог». Даже он не понял моего состояния, а ведь мы были знакомы и здоровались за руку. Я присмирел. Попросить, чтобы меня арестовали? Да, он прав, я сошел с ума. Я чувствовал безумие в своей крови, чувствовал его искры в мозгу. Так вот какой мне уготован конец! Да, да! И я поплелся дальше медленным, похоронным шагом. Значит, вот какая судьба меня ждет!

Вдруг я снова останавливаюсь.

– Только не арест! – говорю я. – Только не это!

Я потерял голос от страха. Я просил, я молил всех святых, чтобы они избавили меня от ареста. Ведь я опять попал бы в ратушу, меня заперли бы в темной камере, где нет и проблеска света. Только не арест! Были и другие возможности, которые я еще не испытывал. Но я их испытаю, я буду упорен, не пожалею времени, стану неутомимо ходить из дома в дом. Есть, например, музыкальный магазин Сислера, туда я и не заглядывал. Чем не выход

из положения... Я бормотал на ходу, а потом снова тихонько заплакал от жалости к себе. Только бы меня не арестовали!

Сислер? Может быть, это наитие свыше? Его имя пришло мне в голову само собой, и жил он так далеко; но я наведуясь к нему, я пойду медленно и время от времени буду отдыхать. Я знаю этот магазин, часто бывал там в лучшие времена, покупал ноты. Что, если попросить у него полкроны? Но это может его смутить; спрошу сразу крону.

Я вошел в магазин и пожелал видеть хозяина; мне указали, куда пройти. В комнате сидел человек, одетый по последней моде, и просматривал бумаги.

Я пролепетал извинение и изложил свое дело. Бедственное положение вынудило меня обратиться к нему... Я очень скоро верну деньги... Как только получу гонорар за статью... Он окажет мне величайшее благодеяние...

Я еще не кончил говорить, как он уже снова склонился над столом и продолжал свое занятие. Когда я умолк, он покосился на меня, качнул своей красивой головой и сказал:

– Нет!

Просто «нет». Без всяких объяснений. Ни единого слова!

Колени у меня дрожали, и я прислонился к маленькому лакированному шкафчику. Я решил попробовать еще раз. Почему именно он пришел мне в голову, ведь я живу так далеко на Ватерланне? В левом боку покалывало, я покрылся испариной.

– Гм... Поверьте, я очень ослабел, – сказал я. – Тяжкая немощ. Но не позднее чем через два дня у меня будет возможность вернуть долг. Не окажет ли он мне любезность?

– Милейший, почему вы пришли именно ко мне? – сказал он. – Я вас никогда в глаза не видел, вы для меня человек с улицы. Обратитесь в газету, где вас знают.

– Но я прошу только на один вечер! – сказал я. – Редакция уже закрыта, а я очень голоден.

Он упорно качал головой, все качал головой, даже когда я взялся за дверь.

– Прощайте! – сказал я.

«Это не было наитие свыше, – подумал я и горько улыбнулся. – Уж если на то пошло, с такой высоты я и сам мог бы ниспослать наитие». Я прохожу один квартал за другим, по временам немного отдыхая на ступеньках. Только бы меня не арестовали! Ужас перед темной камерой преследовал меня, не давал мне ни минуты покоя; завидев полицейского, я всякий раз сворачивал в боковую улицу, чтобы избежать встречи с ним.

– Ну, теперь отсчитаем сто шагов, – сказал я, – и снова попытаем счастья! Когда-нибудь да получится...

Это была маленькая лавчонка, в которую я раньше никогда не заходил. За прилавком стоял простой на вид человек, за спиной у него была дверь с фарфоровой вывеской, товар на длинных полках и стеллажах. Я дождался, пока не ушла из лавки последняя покупательница – молодая дама с ямочками на щеках. Какой счастливый был у нее вид! Я не хотел обращать на себя ее внимание и отвернулся.

– Что вам угодно? – спросил приказчик.

– Могу ли я видеть хозяина?

– Нет, он уехал в горы, в Йотунхейм, – ответил он. – А у вас важное дело?

– Мне нужно несколько эре на хлеб, – сказал я с насильственной улыбкой. – Я голоден, и в карманах у меня пусто.

– В таком случае, я не богаче вас, – сказал он и начал раскладывать мотки пряжи.

– Ах, не гоните меня в такую трудную минуту! – сказал я, похолодев. – Поверьте, я умираю с голоду, – вот уже несколько дней у меня крошки во рту не было.

Он молча, с самым серьезным видом, принялся выворачивать свои карманы.

Как, мне не угодно поверить ему на слово?

– Я прошу всего пять эре, – сказал я. – А через два дня вы получите десять.

– Любезный, вы хотите, чтобы я украл деньги из кассы? – сердито спросил он.

– Да, – сказал я. – Возьмите пять эре из кассы.

– Это не в моих правилах, – возразил он и добавил: – Кстати, мне пора закрывать лавку.

Я ушел, истерзанный голодом, сгорая со стыда. Нет, довольно! Это уж слишком. Столько лет я держался, в такие тяжкие часы сохранял достоинство, а теперь вдруг скатился до самого примитивного нищенства. За один день я своим бесстыдством лишил возвышенности все свои мысли, выпачкал душу. Не краснея, я плакался и клянчил деньги у ничтожного лавочника. А к чему это привело? Разве не остался я все равно без куска хлеба? И теперь я стал отвратителен самому себе. Да, необходимо положить этому конец! Как раз сейчас запираются ворота моего дома, и мне нужно поторопиться, если я не хочу провести еще одну ночь в ратуше...

Это придало мне силы; ночевать в ратуше я не хотел. Скорчившись, держась за левый бок, чтобы хоть немного унять колику, я поплелся дальше, не сводя глаз с тротуара, чтобы знакомым, если они попадутся навстречу, не приходилось мне кланяться; я спешил к пожарному депо. Слава богу, часы на храме Спасителя показывали только семь, и у меня еще оставалось три часа, прежде чем запрут ворота. Напрасно я испугался!

Итак, все испытано, сделано все возможное. «Но какой несчастливый день, с утра до вечера мне ни разу не повезло», – подумал я. Если бы рассказать это кому-нибудь, никто не поверит, а если бы описать, скажут, что все это я выдумал. Ни разу! Стало быть, ничего не попишешь; только ни за что не впадать больше в жалобный тон. Тьфу, это так противно, поверь, – ты внушаешь мне отвращение! Раз нет надежды, значит, нет. Впрочем, нельзя ли украсть на конюшне горсть овса? Эта мысль промелькнула, как лучик, как полоска света, я знал, что конюшня заперта.

Меня это не опечалило, и я медленно поплелся к дому. На счастье, мне только теперь захотелось пить, впервые за целый день, и я искал, где бы напиться. От базара я был слишком далеко, а в частный дом мне заходить не хотелось; пожалуй, я мог бы потерпеть до возвращения домой; на это потребуется с четверть часа. Еще неизвестно, как подействует на меня глоток воды; мой желудок уже ничего не принимал, меня тошнило даже от слюны, которую я глотал.

А пуговицы? Я еще не попытал счастья с пуговицами! Тут я улыбнулся. Может быть, все-таки найдется выход! Еще не все потеряно! Без сомнения, я получу за них десять эре, а завтра раздобуду где-нибудь еще десять, в четверг же мне заплатят за статью. Нужно только собраться с силами, и все наладится! Как я, в самом деле, мог забыть про пуговицы! Я вынул их из кармана и рассматривал на ходу; в глазах у меня мутилось от радости, я плохо видел улицу, по которой шел.

Как хорошо я знал большой подвал, где часто искал спасения в темные вечера, он был мне другом и в то же время высасывал из меня кровь! Все мое имущество постепенно перекочевало туда, все хозяйственные домашние мелочи, все книги до единой. В дни распродажи я ходил туда смотреть и радовался всякий раз, как мне казалось, что книги мои попадают в хорошие руки. Мои часы купил артист Магельсен, и я почти гордился этим; календарь с первым моим стихотворением приобрел один знакомый, а пальто досталось фотографу, который давал его теперь на прокат в своем ателье. Так что все устроилось прилично.

Я вошел, держа пуговицы в руке. Процентщик сидел за своей конторкой и писал.

– Я могу обождать, мне не к спеху, – сказал я, боясь помешать ему и рассердить его своим приходом. Мой голос звучал так глухо, я сам не узнавал его, а сердце стучало, как молот.

Он подошел ко мне с обычной своей улыбкой, положил на стойку обе руки и посмотрел мне в лицо, не говоря ни слова.

– Я тут кое-что принес и хотел бы показать, может быть, они пригодятся... дома они мне только мешают, просто спасения нет... вот эти пуговицы.

– Что же это у вас за пуговицы такие? – И он поглядел на мою ладонь.

– Нельзя ли мне получить за них несколько эре? Сколько вы сами найдете возможным... По вашему усмотрению.

– За пуговицы? – И он изумленно посмотрел на меня. – За *эти* пуговицы?

– На сигару или хоть сколько-нибудь. Я проходил мимо, вот и зашел...

Старый ростовщик засмеялся и, не говоря ни слова, вернулся к своей конторке. Я стоял на месте. Собственно, я не очень на него рассчитывал, но все же у меня была слабая надежда. И этот его хохот прозвучал, как смертный приговор... А что, если я предложу ему в придачу очки?

– Я готов отдать также очки, это само собой разумеется, – сказал я и снял очки. – Мне всего-то и нужно десять эре или хотя бы пять.

– Вы сами знаете, что я не могу взять ваши очки, – сказал процентщик. – Я вам это уже говорил.

– Но мне нужна почтовая марка, – глухо сказал я. – Я не могу даже отослать письмо, а это необходимо. Дайте мне марку в десять или в пять эре.

– Ступайте отсюда с богом! – отозвался он и махнул на меня рукой.

«Ну, теперь будь что будет!» – сказал я себе. Я машинально надел очки, взял пуговицы и ушел, пожелав ему спокойной ночи и, как всегда, плотно прикрыв за собою дверь. Теперь уж ничего не поделаешь! На лестничной площадке я остановился и еще раз взглянул на пуговицы.

– Он решительно не хочет их взять! – сказал я. – Хотя пуговицы почти новые. Это для меня загадка.

Пока я стоял в раздумье, мимо меня прошел какой-то человек и стал спускаться вниз, в подвал. Впопыхах он слегка толкнул меня; мы оба извинились, я обернулся и смотрел ему вслед.

– Послушай, это ты? – сказал он вдруг снизу.

Потом он снова поднялся наверх, и я узнал его.

– Господи, какой у тебя вид! – сказал он. – Что ты здесь делаешь?

– Да так, было одно дельце. Но ты, я вижу, идешь туда же.

– Да. А ты что ему носил?

Колени у меня дрожали, я прислонился к стене и показал пуговицы, лежавшие у меня на ладони.

– Что за черт! – воскликнул он. – Нет, это уж слишком!

– До свидания! – сказал я и хотел уйти, так как в груди у меня закипали слезы.

– Нет, подожди! – сказал он.

Но чего мне ждать? Ведь он сам пришел к процентщику, быть может, принес свое обручальное кольцо, несколько дней голодал, задолжал хозяйке.

– Хорошо, – сказал я. – Если ты не долго...

– Ну конечно же, – сказал он, беря меня за руку. – Но, признаться, я не очень тебе верю, дурак ты этакий, так что пойдём-ка лучше вместе.

Я понял, о чем он, и ответил, чувствуя себя несколько оскорбленным:

– Не могу! Я обещал в половине восьмого быть на улице Бернта Анкера, и...

– В половине восьмого, так! Но сейчас-то уже восемь. Видишь, я держу часы в руке, и мне нужно только отнести их в подвал. Ступай за мной, голодный бродяга! Я раздобуду тебе не меньше пяти крон.

И он подтолкнул меня к двери.

3

Целая неделя прошла в изобилии и радости.

Я выкарабкался из беды, обедал каждый день, моя бодрость росла, и я придумывал одну затею за другой. Я работал сразу над тремя или четырьмя статьями, отдавая им всякую искру, всякую мысль, какая возникала в моей бедной голове, и мне казалось, что дело у меня идет лучше, чем прежде. Последнюю статью, на которую я потратил столько сил и возлагал столько надежд, редактор уже вернул обратно, и я тотчас же уничтожил ее, взбешенный и оскорбленный, изорвал, не перечитав. Теперь постараюсь устроиться в другую газету, чтобы

иметь возможность лавировать. В худшем случае, если и это не поможет, наймусь в матросы: у пристани стоит «Монах», готовый к отплытию, и я, пожалуй, смогу отправиться на нем в Архангельск или куда там он плывет. Так что надежд у меня было хоть отбавляй.

Последнее потрясение не прошло для меня бесследно: начали выпадать волосы, мучительно болела голова, шалили нервы. Днем я писал, обернув руки тряпками, просто потому, что не терпел ощущения на них собственного своего дыхания. Когда Йене Олай слишком сильно хлопал подо мною дверью конюшни или на заднем дворе начинала лаять собака, меня до мозга костей пронизывало холодом, и это ощущение отдавалось по всему телу. Мое здоровье заметно пошатнулось.

Изо дня в день я напряженно работал, с трудом находил время пообедать и снова принимался писать. Не только мой шаткий письменный столик, но и вся кровать были завалены заметками и исписанными листами, которые я исправлял, переделывал, тут же вставлял в новые статьи, задуманные в тот день, кое-что зачеркивал, неуклюжие места оживлял красочными словами, с большим трудом продвигаясь от фразы к фразе. Как-то вечером одна из статей была наконец готова, и я, счастливый и радостный, сунув ее в карман, отправился к «Командору». Давно пора было снова подумать о деньгах, потому что у меня почти ничего не оставалось.

«Командор» просил подождать всего минутку... Сам он продолжал писать.

Я осмотрел тесное помещение: бюсты, литографии, газетные вырезки, огромная корзина, которая, казалось, могла поглотить человека. Мне стало очень грустно при виде этого чудовищного зева, этой драконовой пасти, вечно раскрытой, вечно готовой глотать отвергнутые работы, разбивать людские надежды.

– Какое у нас сегодня число? – вдруг спрашивает «Командор», не поднимая головы от стола.

– Двадцать восьмое! – отвечаю я, обрадовавшись, что могу оказать ему услугу.

– Двадцать восьмое. – И он продолжает писать. Наконец он запечатывает несколько писем, отправляет в корзину какие-то бумаги и кладет перо. Потом поворачивается в кресле и смотрит на меня. Заметив, что я все еще стою у двери, он полусерьезно, полушутливо делает знак рукою и указывает на стул.

Я отворачиваюсь, чтобы он не видел, что на мне нет жилета, расстегиваю куртку и достаю рукопись из кармана.

– Это небольшой очерк о Корреджо, – говорю я. – Но к сожалению, это написано не совсем обычным...

Он берет из моей руки листки и начинает просматривать их. Он поворачивается ко мне лицом. Имя этого человека я слышал уже в ранней молодости, и много лет его газета имела на меня огромное влияние, а сам он вблизи оказался вот каким. У него вьющиеся волосы и несколько беспокойные карие глаза; он имеет привычку время от времени негромко сопеть. С виду он кроток, как пастор, этот человек с хлестким пером, которым он умеет бичевать до крови. Когда я смотрю на него, страх и удивление овладевают мною, чуть не плача, я невольно делаю шаг к нему, хочу выразить свою любовь за все, чему я у него научился, хочу попросить у него снисхождения – ведь я всего только жалкий бедняк, которому и без того трудно... Он смотрит на меня и медленно, в задумчивости кладет рукопись. Чтобы ему легче было мне отказать, я сам протягиваю руку и говорю:

– Это, конечно, вам не подходит?

И улыбаюсь, делая вид, будто отношусь к этому совсем легко.

– Мы можем печатать лишь популярные статьи, – отвечает он. – Вы же знаете наших читателей. Нельзя ли сделать это попроще? Или взять другую тему, более понятную?

Его предупредительность изумляет меня. Я понимаю, что моя статья отвергнута, и все-таки я не мог бы получить более любезного отказа. Чтобы не задерживать его, я торопливо отвечаю:

– О да, конечно, можно.

Я направляюсь к двери. Кашлянув, прошу прощения за то, что беспокоил его...

Откланиваюсь и берусь за ручку двери.

– Если угодно, – говорит он, – я могу заплатить вам немного вперед. Вы потом отработаете.

Он сам видел, что я не гожусь в писатели, поэтому его предложение несколько унизительно для меня, и я отвечаю:

– Нет, благодарствуйте, в настоящее время я еще свожу концы с концами. Впрочем, я вам весьма признателен. Прощайте!

– Прощайте! – отвечает «Командор» и тотчас же отворачивается к своему письменному столу.

Во всяком случае, я не заслужил такого любезного обращения и был благодарен ему за это; мне следовало оценить его предупредительность. Я решил прийти к нему не раньше, чем напишу статью, которой сам буду вполне доволен; тогда это озадачит «Командора», и он, не колеблясь, предложит мне десять крон. Я пошел домой и снова взялся за перо.

В ближайшие дни, когда время подходит к восьми вечера и зажигают газовые фонари, со мною неизменно случается следующее.

Я выхожу из ворот, чтобы после дневных трудов и хлопот погулять по улицам, а у фонаря, подле самых ворот, стоит дама в черном, поворачивается ко мне лицом и провожает меня взглядом, когда я прохожу мимо. Я обращаю внимание, что на ней всегда одно и то же платье, одна и та же густая вуаль, закрывающая лицо и спадающая на грудь, а в руке маленький зонтик с кольцом из слоновой кости на рукоятке.

Уже третий вечер я вижу ее здесь, всегда на том же самом месте; как только я прохожу мимо, она медленно поворачивается и идет по улице в противоположную Сторону.

Из моей головы, как из рога изобилия, сыплются фантазии, у меня возникает нелепая мысль, что она приходит ради меня. Я почти готов заговорить с нею, спросить ее, не ищет ли она кого-нибудь, не нужна ли ей моя помощь, нельзя ли мне проводить ее до дому, хотя я, к сожалению, так плохо одет, – вдруг ей понадобится защита на темной улице. Но я чувствую смутный страх, что это повлечет за собой расходы, – придется угостить ее вином, покатать в коляске, а у меня совсем не осталось денег; карманы мои пусты, – это угнетает, и я не осмеливаюсь хотя бы испытующе взглянуть на нее, когда прохожу мимо. Голод начал снова терзать меня, я не ел со вчерашнего дня; это, конечно, не так уж много, ведь мне не раз приходилось терпеть по нескольку дней кряду, но я стал подозрительно слабеть и уже не мог голодать, как раньше, один-единственный день без пищи изнурял меня, и стоило мне выпить воды, как появлялась неудержимая рвота. Кроме того, я очень мерз по ночам, ложился, не раздеваясь, и все равно мерз, леденел от озноба и страдал от холода во сне. Старое одеяло не могло спасти от сквозняков, и утром я просыпался, чувствуя, что нос мой превратился в сосульку от ледяного ветра, врывавшегося со двора.

Я иду по улице и думаю, как бы мне не свалиться еще до того, как я окончу свою следующую статью. Будь у меня свеча, я попытался бы работать ночью; на это ушло бы два часа, будь я действительно в рабочем состоянии; а завтра я снова мог бы пойти к «Командору».

Не долго думая, я вхожу в кофейню и жду своего знакомого из банка, чтобы взять займы десять эре на свечку. Мне позволили обойти все комнаты, все столы, за которыми ели, пили и беседовали гости, я дошел до самого конца кофейни, до «красной комнаты», но так и не увидел своего знакомого. Подавленный и злой, я снова вышел на улицу и направился к дворцу.

Черт возьми, неужели моим невзгодам так и не будет конца! Я шагал широкими, яростными шагами, подняв воротник куртки и сжимая кулаки в карманах брюк, шел и проклинал свою несчастную звезду. Ни одной блаженной минуты за целых восемь месяцев, всякую неделю я голодаю, бедствую и теряю силы. И к тому же, при всей своей нищете, я честен, хе-хе, честен всегда и во всем! Боже правый, как я смешон! И я бормотал о том, как меня мучила совесть, потому что однажды я снес к ростовщику одеяло Ханса Паули. Я презрительно хохотал над своей больной совестью, брезгливо плевал на землю и не находил

достаточно резких слов, издеваясь над своей глупостью. Ах, случись это теперь! Если б в этот миг я нашел на улице кошелек, потерянный школьницей, единственную монетку бедной вдовы, я поднял бы ее и сунул в карман, украл бы со спокойной совестью и сладко спал бы всю следующую ночь. Недаром я так долго страдал, мое терпение истощилось, и я был готов на все.

Я несколько раз обошел дворец, потом решил отправиться домой, замешкался еще немного в парке и наконец пошел по улице Карла-Юхана.

Было около одиннадцати часов. Вокруг царила полутьма, всюду бродили люди, то парами, то шумной толпой. Наступил великий миг, пришло время любви, когда души тайно сливаются и жизнь подобна счастливой сказке. Слышался шелест женских юбок, короткий, страстный смех, волнуящий грудь, горячее, судорожное дыхание. Вдали, у Гранда, какой-то голос звал: «Эмма!» Вся улица была подобна болоту, над которым вздымались горячие пары.

Я невольно шарю в кармане, не найдется ли там двух крон. Страсть, которая трепещет в каждом людском движении, даже тусклый свет газовых фонарей, тихая, волнуящая ночь – все это начинает оказывать на меня воздействие, а воздух вокруг полон шепота, объятий, трепетных признаний, недосказанных слов, отрывистых вскриков; несколько кошек с громким мяуканьем справляют свадьбу в подворотне Блумквиста. А у меня нет даже двух крон. Какое это горе, какое ужасное несчастье, что я так обнищал! Какое унижение, какой позор! И я снова стал думать о последней монетке бедной вдовицы, которую мог бы украсть, о шапке или носовом платке школьника, о котомке нищего, которую без малейшего колебания отнес бы к тряпичнику, и прокутил бы вырученные деньги. Чтобы утешить и вознаградить себя, я стал выискивать всевозможные недостатки у этих счастливых людей, скользивших мимо меня; я сердито пожимал плечами и презрительно смотрел на них, когда они проходили, пара за парой. Эти самодовольные лакомки-студенты, которые думают, что ведут себя, как европейские повесы, когда им удастся коснуться груди какой-нибудь швейки! Эти молодые люди, банкиры, коммерсанты, бульварные волокиты, которые не брезгают даже матросскими женами, толстыми куколками со скотного рынка, отдающимися за кружку пива в первой же подворотне. Ну и сирены! Их постель еще не остыла после посещения пожарного или конюха... Трон всегда свободен, доступен всякому, милости просим, взойдите!.. Я плевал изо всех сил, не заботясь о том, что могу попасть в кого-нибудь, был озлоблен, полон презрения к этим людям, льнувшим друг к другу и сходявшимся на моих глазах. Я высоко держал голову и был счастлив, что соблюл себя в чистоте.

У стортинга я встретил девицу, которая пристально посмотрела на меня, и пошел рядом с нею.

– Добрый вечер! – сказал я.

– Добрый вечер!

Она остановилась.

– Гм... Что это вы ходите так поздно? Разве молодой девице не рискованно гулять в такое время по улице? Нет? Да, но разве с вами никогда не заговаривали, не оскорбляли вас, не зазывали домой?

Она изумленно смотрела на меня, стараясь прочесть на моем лице, что я хотел сказать. Потом вдруг взяла меня под руку и проговорила:

– Ну что ж, пойдёмте!

Я пошел. Когда мы очутились в стороне от извозчиков, я остановился, высвободил свою руку и сказал:

– Послушайте, миленькая, у меня нет ни эре. Уж лучше я пойду своей дорогой.

Вначале она не хотела верить мне; но, ощупав мои карманы и ничего не найдя, она насупилась, вскинула голову и обозвала меня пентюхом.

– Спокойной ночи! – сказал я.

– Постойте! – крикнула она. – А очки у вас в золотой оправе?

– Нет.

– Ну и черт с вами!

Я ушел.

Но она нагнала меня и снова окликнула:

– Ладно уж, все равно пойдете.

Это предложение жалкой уличной девки было для меня унижительно, и я отказался. Кроме того, была уже поздняя ночь, и я торопился в другое место; да и не таково ее положение, чтобы идти на подобные жертвы.

– Но я хочу пойти с вами.

– А я не могу согласиться на такие условия.

– Вы, конечно, идете к другой, – сказала она.

– Нет, – ответил я.

Ах, у меня не было никакой охоты к этому, девицы стали для меня почти все равно что мужчины, нужда иссушила меня. Но я чувствовал, как жалок я в глазах этой странной девицы, и решил соблюсти приличие.

– Как вас зовут? – спросил я. – Мария? Так вот! Послушайте, Мария! – И я начал объяснять свое поведение. Девица все больше и больше изумлялась. Неужели она подумала, что и я один из тех, кто ходит вечерами по улицам и ловит девиц? Неужели она в самом деле так дурно обо мне думала? Разве я сказал ей что-нибудь неприличное? Разве тот, у кого дурное на уме, ведет себя так, как я? Одним словом, я разговаривал с ней и проводил ее немного, желая посмотреть, что она станет делать дальше. Впрочем, меня зовут так-то и так-то, я пастор. Спокойной ночи! Ступай и впредь не греш!

И я ушел.

Я потирал руки, восхищаясь своей великолепной выдумкой, и разговаривал сам с собой вслух. Как радостно бродить по городу и творить добрые дела! Быть может, я помог этому падшему созданию возродиться на всю жизнь! Опомнившись, она оценит мое благородство, с сердечной признательностью будет вспоминать меня даже в свой смертный час. Ах, все-таки стоило быть честным, честным и праведным!

Я был в прекрасном настроении, чувствовал себя сильным и смелым, был готов ко всему. Если б только достать свечку, я, пожалуй, окончил бы свою статью! Я шел, помахивая новым ключом от ворот, напевал, посвистывал и думал, как мне добыть свечу. Но придумал только одно – писать на улице, при свете газового фонаря. Я отпер ворота и отправился за своими бумагами.

Выйдя снова, я запер ворота снаружи и расположился у фонаря. Вокруг было тихо, я слышал только тяжелые, гулкие шаги полицейского в соседнем переулке, да издали, от холма Святого Генриха, доносился собачий лай. Ничто не мешало мне, я поднял воротник куртки и принялся сосредоточенно думать. Я был бы бесконечно счастлив, если б мне удалось закончить эту маленькую статью. Я остановился на трудном месте, нужен был незаметный переход к чему-нибудь новому, потом мягкий, постепенный конец на длинной трепетной ноте, которая вдруг оборвется очень резкой фразой, волнующей, как выстрел или как грохот горной лавины. Точка.

Но слов не было. Я перечел всю статью сначала, громко произнося каждое слово, и никак не мог собраться с мыслями, чтобы придумать подходящую фразу. Пока я работал; подошел полицейский, остановился посреди улицы поодаль от меня и разрушил все мое рабочее настроение. Какое ему дело, что в этот миг я придумывал замечательную фразу к статье для «Командора»? Господи, как трудно мне было удержаться на поверхности, за что бы я ни ухватился! Я простоял под фонарем с час, полицейский ушел, холод стал слишком пронизывающим, и я не мог оставаться на месте. Унылый и подавленный новой неудачей, я снова открыл ворота и пошел к себе.

В моем жилище было холодно, и я с трудом различил свое окно в густой темноте. Я ощупью добрался до постели, снял башмаки и стал растирать ноги, чтобы их согреть. Потом я лег не раздеваясь, как делал уже давно.

На следующее утро, едва рассвело, я сел в кровати и снова принялся за статью. Я сидел

так до полудня, и мне удалось сочинить десятка два строк. Но до конца я так и не дошел.

Я встал, обулся и, чтобы согреться, начал ходить взад-вперед по комнате. Окна заиндевели, я выглянул на улицу: шел снег, весь двор и колодезный сруб были завалены снегом.

Я метался по комнате, бессознательно шагал взад-вперед, царапал ногтями стены, осторожно прижимался лбом к двери, постукивал указательным пальцем по полу, напряженно прислушивался – все это я делал без малейшей надобности, но тихо и глубокомысленно, будто затеял нечто важное. И в то же время я громким голосом, чтобы слышать самому, твердил: «Боже правый, но ведь это же безумие!» И продолжал делать то же самое. По прошествии долгого времени, – это длилось, пожалуй, не меньше двух часов, – я овладел собою, закусил губу и постарался обрести твердость. С этим необходимо покончить! Я отыскал стружку, пожевал ее и решительно взялся за карандаш.

С огромным трудом мне удалось написать две короткие фразы – с десятков жалких, вымученных слов, которые я выжал насильственно, лишь бы как-нибудь продвинуть дело. Но дальше я не мог работать, голова была пуста, силы оставили меня. Я не мог пошевелиться и широко раскрытыми глазами глядел на эти слова, на эту недописанную страницу, вперившись в странные, шаткие буквы, которые торчали на бумаге, словно ошестинившиеся зверьки, – глядел, ничего не в силах понять, ни о чем не думая.

Время шло. До меня уже доносился уличный шум, стук колес и конских подков, из конюшни слышался голос Йенса Олая, который разговаривал с лошадьми. Я совершенно ослабел и только причмокивал губами, не в силах пошевелиться. Жжение в груди усилилось.

В глазах у меня темнело, я изнемогал от усталости и снова лег. Чтобы согреть руки, я потирал волосы от лба к затылку и от виска к виску; при этом я вырывал пучки и клочья, роняя их на подушку. Это меня не беспокоило, я оставался равнодушным, ведь волос на моей голове было еще достаточно. Я попытался стряхнуть с себя эту странную дрему, расплывшуюся по всему телу, как туман; я приподнялся, похлопал ладонью по коленям, прокашлялся, преодолевая боль в груди, – и снова упал навзничь. Ничто не помогало; я беспомощно лежал с открытыми глазами, устремленными в потолок, и чувствовал, что умираю. Потом я сунул указательный палец в рот и стал его сосать. Что-то шевельнулось в моем мозгу, безумная, нелепая мысль искала выхода. А не укусить ли его? Не долго думая, я закрыл глаза и стиснул зубы.

Я вскочил. Наконец-то я очнулся. Из пальца сочилась кровь, и я стал ее слизывать. Мне не было больно, да и ранка была пустячная; но я сразу пришел в себя; я покачал головой, подошел к окну, отыскал тряпочку и перевязал рану. На глазах у меня тем временем выступили слезы, я тихо оплакивал самого себя. Этот худой, искусанный палец был таким жалким. Боже правый, до чего я дошел!

Темнота стужалась. В конце концов вполне возможно, что к вечеру я закончу статью, если только у меня будет свеча. Голова моя снова прояснилась, мысли текли, как всегда, и я не очень страдал; даже голод ощущался не так остро, как несколько часов назад, и я мог преспокойно потерпеть до следующего утра. Вероятно, мне дадут свечу в долг, если я пойду в лавку и объясню свое положение. Меня там хорошо знают; в лучшие времена, до своего обнищания, я часто покупал хлеб в этой лавчонке. Без сомнения, мне дадут там свечу под честное слово. И впервые за долгое время я принялся ощупью, в темноте, чистить свое платье, смахнув с воротника куртки выпавшие волосы; потом побрел вниз по лестнице.

Выйдя за ворота, я подумал, что лучше, быть может, попросить хлеба. Я остановился в раздумье.

– Нет, ни в коем случае! – сказал я наконец сам себе.

Ведь в теперешнем состоянии мне никак нельзя есть; иначе опять возникнут видения, нелепые чувства, бред, я не смогу закончить статью, а мне необходимо пойти к «Командору», пока он не забыл меня. Ни в коем случае! Я решился просить свечу. И с этой мыслью вхожу в лавку.

Какая-то женщина у стойки делает покупки; я вижу множество мелких, разноцветных свертков. Приказчик, который знает меня и помнит, что я обычно у него покупаю, оставляет женщину, ни о чем не спрашивая, заворачивает в газету хлеб и кладет передо мною.

– Нет, мне, собственно, нужна свеча на сегодняшний вечер, – говорю я. И говорю это очень тихо, почтительно, иначе он может рассердиться и не даст мне свечу.

Мои слова кажутся ему неожиданными, впервые я спрашиваю у него не хлеб, а что-то другое.

– В таком случае, вам придется немного обождать, – говорит он и снова возвращается к женщине.

Она берет свои покупки, протягивает ему пять крон, получает сдачу и уходит.

Мы с приказчиком остаемся одни.

Он говорит:

– Вам, значит, свечу.

Вскрыв пачку свечей, он вынимает одну. Он смотрит на меня, и я смотрю на него, не в силах высказать свою просьбу.

– Да, конечно, ведь вы уже заплатили, – вдруг говорит он.

Просто-напросто, говорит, что я заплатил; я отчетливо слышу каждое его слово. И он начинает отсчитывать серебро из ящика, крону за кроной, тяжелые, блестящие монеты, он дает мне сдачи с пяти крон, – с пяти крон той женщины.

– Пожалуйста! – говорит он.

Мгновение я смотрю на деньги, понимаю, что он ошибся, но не раздумываю, совершенно не шевелю мозгами, – ослепленный этим богатством, я совсем как шальной. Машинально я беру деньги.

Я стою у прилавка в тупом удивлении, пораженный, уничтоженный; потом я делаю шаг к двери и снова останавливаюсь. Я пристально гляжу в стену; там на кожаном шнурке висит колокольчик, а под ним – связка веревок. И я стою и смотрю на все это.

Видя, как долго я мешкаю, приказчик думает, что я хочу вступить в разговор и, перекладывая на прилавке стопки оберточной бумаги, замечает:

– Похоже, скоро зима.

– Гм. Да... – отвечаю я. – Похоже, что скоро зима. Похоже на то. – И немного спустя, прибавляю: – Что ж, ведь пора. И похоже на то. Впрочем, давно уж пора.

Я прислушиваюсь к своей болтовне, словно не я, а кто-то другой говорит все это.

– Вы так полагаете? – говорит приказчик.

Сунув деньги в карман, я отворил дверь и ушел; я слышал, как я пожелал приказчику спокойной ночи и он мне ответил.

Не успел я сделать и двух шагов, как дверь распахнулась и приказчик окликнул меня. Я обернулся без удивления, без тени страха: я только собрал деньги в горсть и готов был отдать их.

– Вы забыли свечу, – говорит приказчик.

– Ах, благодарю вас! – спокойно отвечаю я. – Большое спасибо!

И я снова пошел по улице, держа свечу в руке.

Моя первая здравая мысль касалась денег. Я подошел к фонарю и снова пересчитал их, взвесил на ладони и улыбнулся. Ведь это целое богатство, его хватит надолго, очень надолго! Я снова сунул деньги в карман и пошел дальше.

У столовой на Стургатен я остановился, тщательно, хладнокровно взвешивая, можно ли мне сейчас немного поесть; изнутри слышался звон тарелок, стук ножей; искушение было слишком велико, и я вошел.

– Бифштекс! – потребовал я.

– Один бифштекс! – крикнула официантка в оконце.

Я сел за отдельный маленький столик у самых дверей и стал ждать. В этом углу царил полумрак, мне здесь было спокойно, и я предался размышлениям. Время от времени официантка с любопытством поглядывала на меня.

Итак, я совершил первый действительно бесчестный поступок, первую кражу, в сравнении с которой все мои прежние выходки были пустяком; первое маленькое и в то же время великое падение... Ну что ж! Теперь уже ничего не поделаешь. Впрочем, все зависит от меня, ведь я могу расплатиться с лавочником потом, при случае. И это вовсе не значит, что я должен и дальше идти по этому пути; к тому же я не обязан жить честнее всех, я не давал такой клятвы...

– Как вы думаете, бифштекс скоро будет готов?

– Да, сейчас.

Официантка открывает оконце и заглядывает в кухню.

Но если это дело выльвет наружу? Если у приказчика возникнет подозрение, если он начнет вспоминать историю с хлебом, с пятью кронами, со сдачей, которую получила та женщина? Ведь вполне вероятно, что он спохватится в первый же раз, как я снова зайду в лавку. Господи, ну и что с того?.. Я слегка пожимаю плечами.

– Пожалуйста! – любезно говорит официантка и ставит бифштекс на стол. – Но не лучше ли вам перейти в соседнее помещение? Здесь так темно.

– Нет, спасибо, позвольте мне остаться здесь, – отвечаю я.

Ее любезность растрогала меня, я тотчас плачу за бифштекс, даю ей наугад, сколько попало в кармане, и зажимаю ее руку. Она улыбается, а я, шутя, с увлажнившимися глазами, говорю:

– На чаевые купите себе усадьбу... Ах, не стоит благодарности!

Принявшись за бифштекс, я ем все жаднее, глотаю большие куски, не разжевывая. Я рву говядину зубами, как людоед.

Официантка снова подходит ко мне.

– Не хотите ли чего-нибудь выпить? – спрашивает она, слегка нагнувшись ко мне.

Я взглянул на нее: она говорила очень тихо, почти стыдливо; под моим взглядом она опустила глаза.

– Скажем, полбутылки пива или еще что-нибудь... от меня... и кроме того... если вам угодно...

– Нет, спасибо! – ответил я. – Как-нибудь в другой раз. Я еще зайду к вам.

Она отошла и села за стойкой; теперь я видел только ее голову. Какая она странная!

Кончив есть, я тотчас же пошел к двери. Я уже чувствовал тошноту. Официантка встала. Я боялся выйти на свет, боялся слишком близко подойти к этой молодой девушке, которая и не подозревала о моей нищете, а поэтому торопливо пожелал ей доброй ночи, поклонился и вышел.

Еда уже оказывала свое действие, меня сильно тошнило, к горлу подступала рвота. Во всяком темном углу я искал облегчения, старался преодолеть тошноту, от которой снова пустел мой желудок, сжимал кулаки, делал над собой усилие, топал ногами и в бешенстве глотал то, что готово было извергнуться изо рта, – но все напрасно! Наконец я вбежал в какую-то подворотню, скорчившись, ослепнув от слез, застилающих глаза, и меня вырвало.

Я был в отчаянье, шел по улице и плакал, проклиная те чудовищные силы, каковы бы они ни были, за то, что они так беспощадно преследуют меня, призывал на них проклятие ада и вечные муки за их жестокость. Да, эти силы не отличаются рыцарским благородством, право, не отличаются, уж это точно!.. Я подошел к какому-то человеку, который глазел на витрину, и попросил поскорей сказать, что, на его взгляд, нужно дать человеку, долгое время терпевшему голод.

– Это вопрос жизни и смерти, – сказал я. – А бифштекса он не может перенести.

– Я слышал, что очень полезно молоко, кипяченое молоко, – ответил он в крайнем изумлении. – А о ком речь?

– Спасибо! Спасибо! – сказал я. – Может, вы и правы, кипяченое молоко очень полезно.

И я ухожу.

Зайдя в первую попавшуюся кофейню, я спрашиваю кипяченого молока. Мне дают горячее молоко, и я пью его, жадно глотаю каждую каплю, расплачиваюсь и ухожу. Я

направляюсь домой.

И тут происходит нечто поразительное. Я вижу, что у моих ворот, прислонившись к фонарному столбу, на самом освещенном месте, кто-то стоит, – это опять дама в черном. Та самая дама в черном, что уже приходила сюда. Ошибки быть не может, она пришла на то же место в четвертый раз. Она стоит совершенно неподвижно.

Мне это кажется столь странным, что я невольно замедляю шаг; мысли мои совершенно ясны, но я очень взволнован, нервы возбуждены едой. Я, как всегда, прохожу мимо нее, дохожу почти до ворот и готов уже войти. Но тут я останавливаюсь. Меня охватывает дерзкий порыв. Я безотчетно поворачиваюсь, направляюсь к даме, смотрю ей прямо в лицо и кланяюсь:

– Добрый вечер, фрекен!

– Добрый вечер! – отвечает она.

– Прошу прощения, но вы кого-нибудь ищете? Я вас уже давно заметил, не могу ли быть чем-нибудь полезен? В противном случае – виноват.

– Право, не знаю...

– В этом дворе никто не живет, кроме меня да трех-четырех лошадей, здесь только конюшня и мастерская жестянщика. Если вы кого-нибудь здесь ищете, это, наверное, ошибка.

Она отворачивается и говорит:

– Я никого не ищу, я стою здесь просто так.

Вот как, она просто стоит здесь, стоит уже не первый вечер только из прихоти. Это несколько странно; чем больше я думал об этом, тем сильнее недоумевал. Наконец я решился быть смелее. Я звякнул деньгами в кармане и, не долго думая, предложил ей пойти куда-нибудь выпить стакан вина... поскольку уже зима, наступили холода, хе-хе... и ведь это совсем недолго... разумеется, если она согласна.

Ах нет, спасибо, это невозможно. Нет, никак нельзя согласиться. Но если б я был так любезен и проводил ее немного, тогда... Уже темно, в столь позднее время неловко идти одной по улице Карла-Юхана.

– С большим удовольствием.

И мы пошли; она шла по правую руку от меня. Мною овладело приятное, неповторимое ощущение – ощущение близости молодой женщины. Я не отрываясь смотрел на нее. Аромат духов, источаемый ее волосами, тепло, исходившее от ее тела, сладостный запах женщины, легкое дыхание, которое оведало меня всякий раз, как она поворачивалась ко мне лицом, – все это проникало, пронизывало меня до глубины души. Я лишь смутно различал под вуалью полное, чуть бледное лицо, а под накидкой – высокую грудь. Этот дивный соблазн, таившийся под покровами, смущал меня, и в то же время я чувствовал беспричинное счастье; не вытерпев, я коснулся ее рукою, дотронулся до ее плеча и глупо улыбнулся. Я слышал, как билось мое сердце.

– Какая вы странная! – сказал я.

– Да почему же?

– Во-первых, потому, что у вас есть привычка неподвижно стоять по вечерам у ворот конюшни без малейшей надобности, только потому, что это пришло вам в голову...

– Ну, на это могут быть свои причины. Кроме того, так приятно гулять до поздней ночи, это мне всегда очень нравилось. А разве вы ложитесь до двенадцати?

– Я? Больше всего на свете ненавижу ложиться раньше двенадцати. Ха-ха!

– Ха-ха, вот видите! А я предпринимала эту вечернюю прогулку, потому что мне все равно нечего делать. Я живу на площади Святого Улафа...

– Илаяли! – воскликнул я.

– Как вы сказали?

– Я просто сказал – Илаяли... Но продолжайте!

– Я живу на площади Святого Улафа вдвоем с матерью, но с ней нельзя говорить, потому что она глухая. Разве странно, что я люблю гулять?

– Нисколько! – ответил я.

– Хорошо, в чем же тогда дело?

По ее голосу я понял, что она улыбается.

– А разве у вас нет сестер?

– Да, есть сестра, старше меня, – но откуда вы это узнали? Она сейчас уехала в Гамбург.

– Недавно?

– Да, пять недель тому назад. А откуда вам известно, что у меня есть сестра?

– Мне это вовсе неизвестно, я просто так спросил.

Мы замолчали. Мимо прошел какой-то человек, неся под мышкой пару башмаков, дальше, насколько хватал глаз, улица была пуста. У Тиволи, вдаль, светился длинный ряд разноцветных фонариков. Снег перестал, небо было ясное.

– Господи, а вам не холодно без пальто? – говорит вдруг дама и смотрит на меня.

Рассказать ей, почему у меня нет пальто? Сразу же открыть ей свое положение, пускай лучше пугается теперь, чем потом? Но мне было так сладостно идти рядом с нею и держать ее в неведении. Я солгал:

– Нет, нисколько не холодно. – И чтобы переменить разговор, спросил: – Вы видели зверинец в Тиволи?

– Нет, – ответила она. – А что, это очень интересно?

Вот если б она согласилась пойти туда! Там так светло илюдно! Но нет, ей пришлось бы стыдиться, пришлось бы уйти оттуда, стесняясь моего потертого платья, моего изможденного лица, которое я уже два дня не умывал; к тому же она могла бы обнаружить, что на мне нет жилета. Поэтому я ответил:

– Ах нет, там решительно нечего смотреть. – К счастью, мне удастся призвать на помощь остатки своего красноречия. – Что смотреть в таком крошечном зверинце? И вообще я не люблю смотреть зверей в клетках. Эти звери знают, что человек на них смотрит, чувствуют на себе сотни любопытных глаз, и это действует на них. Нет, я предпочитаю зверей, которые и не подозревают, что на них смотрят, они таятся в своих норах, их зеленые глаза лениво светятся, они лижут лапы и думают. А как вы полагаете?

– Да, вы, конечно, правы.

– Только звери со всем своим диким своеобразием, злобные и свирепые, могут быть интересны. Когда они бесшумно крадутся в ночной тьме, через грозную чашу леса, и слышатся птичьи крики, и шумит ветер, и пахнет кровью, и рев, и грохот, – одним словом, когда зверей овеивает дух дикой природы...

Но я боялся ей наскучить, вновь почувствовал, что я – лишь жалкий нищий, и это чувство раздавило меня. Будь на мне приличное платье, я мог бы предложить ей приятную прогулку в Тиволи! Как странно, что эта женщина могла находить удовольствие в том, что ее по улице Карла-Юхана провожает оборванный бродяга. О чем она думает? И чего ради я иду подле нее с идиотской, бессмысленной улыбкой? Какой толк мне тащиться в такую даль за этой крошкой? Разве мне это не тяжело? Разве холод не пронизывает меня до костей при всяком порыве ветра, который дует нам в лицо? И разве безумие уже не пылает в моем мозгу оттого, что я столько месяцев подряд недоедал? Ведь из-за нее я не мог пойти домой и промочить горло глотком молока, которое, пожалуй, сумел бы удержать мой желудок. Почему она не повернулась ко мне спиной, почему не послала к черту?..

Я был в отчаянье; эта безнадежная тоска толкнула меня на крайность, и я сказал:

– В сущности, нам не следовало бы идти вместе, фрекен: уже одно мое платье позорит вас на виду у всех. Право, это так, я не шучу.

Она озадачена. Быстро взглянув на меня, она некоторое время молчит. Потом роняет:

– Ах, боже мой!

И больше ни слова.

– Как прикажете вас понимать? – спросил я.

– Ах нет, не говорите так... Теперь уж недалеко.

И она заторопилась.

Мы свернули на Университетскую улицу, и уже видны фонари на площади Святого Улафа. Теперь она снова замедлила шаг.

– Простите меня за нескромность, но, быть может, вы назовете свое имя, Прежде чем мы расстанемся? И хотя бы на мгновение приподнимете вуаль, чтобы я мог взглянуть на вас? Я был бы вам бесконечно благодарен.

Пауза. Я ждал.

– Вы уже видели меня, – говорит она.

– Илаяли! – снова восклицаю я.

– Вы полдня преследовали меня, шли за мной до самого дома. Вы были пьяны?

По ее голосу я снова понял, что она улыбается.

– Да, – сказал я. – Да, к сожалению, я был пьян.

– Ах, как это гадко!

Раздавленный, я признал, что это действительно гадко.

Мы подошли к фонтану, мы остановились и смотрим на освещенные окна дома номер два.

– Дальше вам нельзя идти, – говорит она. – Спасибо, что проводили меня.

Я понурил голову, не смея вымолвить ни слова. Я снял шляпу и стоял с непокрытой головой. Подает ли она мне руку?

– А почему вы не просите, чтобы я прошла с вами еще немного? – шутит она, глядя на носки своих башмаков.

– Боже мой, – говорю я. – Если б вы согласились.

– Хорошо, но только совсем немного.

И мы повернули назад.

Я совсем растерялся, я не знал, идти ли мне или остановиться; из-за этой женщины все мои мысли спутались. Я был в восторге, в упоении, казалось, я готов умереть от счастья. Она сама захотела вернуться, это не я предложил, это было ее собственное желание. Я поглядываю на нее и становлюсь все смелее, она поощряет, манит меня к себе каждым словом. На мгновение я забываю о своей бедности, о своем ничтожестве, о всех своих жалких обстоятельствах, я чувствую, как кровь горячей волной разливается по телу, словно в прежние времена, когда я был полон сил, и я пускаюсь на маленькую хитрость, чтобы выспросить у нее кое-что.

– Впрочем, я тогда преследовал не вас, а вашу сестру, – говорю я.

– Мою сестру? – переспрашивает она в изумлении.

Она останавливается, смотрит на меня, ждет ответа. Это был не пустой вопрос.

– Да, – отвечаю я. – Гм! Я хочу сказать, ту, что помоложе из двух дам, шедших впереди меня.

– Помоложе? Ого! – Она вдруг смеется громко, искренне, как ребенок. – Какой вы хитрец! Вы это сказали, чтобы заставить меня поднять вуаль. Разве нет? Да, я вас раскусила. Но вам этого не дожидаться. Вы должны быть наказаны.

Мы стали смеяться и шутить, все время болтали без умолку, и я сам не знал, что говорю, – так мне было радостно. Она рассказала, что как-то, очень давно, видела меня в театре. Я был с тремя приятелями и вел себя как безумный; очевидно, я и в тот раз был пьян.

– Почему вы это думаете?

– Вы так громко хохотали.

– Вот как! Да, я часто смеялся в то время.

– А теперь нет?

– И теперь тоже. Но тогда жизнь была так прекрасна!

Мы дошли до улицы Карла-Юхана. Она сказала:

– Ну, будет!

Мы повернули назад и снова пошли по Университетской улице. Когда мы опять приблизились к фонтану, я несколько замедлил шаг, зная, что мне нельзя будет провожать ее

дальше.

– Теперь вам пора уходить, – сказала она и остановилась.

– Да, пора, – отозвался я.

Но, поразмыслив, она решила, что я могу проводить ее до подъезда.

– Господи, ведь в этом нет ничего дурного. Правда?

– Конечно, нет, – сказал я.

Но, когда мы стояли у подъезда, я вновь остро почувствовал свою нищету. Как такому обездоленному человеку сохранить бодрость духа? Грязный, измученный, изуродованный голодом, весь в лохмотьях, стоял я перед этой молодой женщиной, готовый провалиться сквозь землю. Я съежился, невольно сгорбил спину и сказал:

– Увижусь ли я с вами еще?

У меня не было никакой надежды, что она позволит увидиться с нею снова; я даже почти желал решительного отказа, который заставил бы меня совладать с собой, снова стать безразличным.

– Да, – сказала она.

– Когда же?

– Не знаю.

Пауза.

– Вы не поднимете вуаль хотя бы на один-единственный миг? – попросил я. – Дайте мне увидеть ваше лицо. На один только миг! Увидеть ваше лицо.

Пауза.

– Мы можем встретиться здесь во вторник вечером, – говорит она. – Хотите?

– Да, милая, если только это возможно!

– В восемь часов.

– Хорошо.

Я провел рукой по ее накидке, смахнул снег, пользуясь предлогом коснуться ее; мне было радостно чувствовать ее близость.

– Значит, вы не станете думать обо мне слишком дурно, – сказала она. И снова улыбнулась.

– Нет...

Вдруг она решительным движением подняла вуаль; мгновение мы смотрели друг на друга.

– Илаяли! – сказал я.

Она привстала на цыпочки, обвила руками мою шею и поцеловала меня в губы. Один-единственный раз, быстро, головокружительно быстро, прямо в губы. Я чувствовал, как вздымается ее грудь от порывистого дыхания.

И тотчас же она вырвалась из моих рук, задыхающимся шепотом бросила мне: «Спокойной ночи!» – повернулась и побежала по лестнице, не сказав больше ни слова...

Входная дверь захлопнулась.

На другой день снег усилился, он падал сырыми, тяжелыми хлопьями, которые на земле превращались в грязь. Было мокро и холодно.

Я проснулся очень рано, и мысли у меня в голове были совершенно спутаны после вчерашних душевных волнений, а душа полна восторга от недавней встречи. Упоенный, я некоторое время лежал с открытыми глазами и воображал, будто Илаяли рядом со мной: я обнимал самого себя и целовал воздух. Наконец я встал, выпил чашку молока, а немного погодя съел бифштекс, и больше не чувствовал голода, однако нервы мои снова были сильно возбуждены.

Я отправился к торговцу готовым платьем. Мне пришло в голову, что я, пожалуй, мог бы недорого купить поношенный жилет, лишь бы было что надеть под куртку. Я поднялся по лестнице к рынку, облюбовал себе жилет и стал его рассматривать. Пока я возился там, мимо прошел знакомый; он кивнул и окликнул меня, я повесил жилет и направился к нему.

Он был техник и шел на работу.

– Пойдем выпьем пива, – предложил он. – Но только поскорее, мне некогда... А что это за дама, с которой вы гуляли вчера вечером?

– Разве вы не знаете, – сказал я, ревнуя уже только от того, что он смеет думать о ней, – что это моя возлюбленная?

– Ух ты, дьявол! – сказал он.

– Да, это произошло вчера вечером.

Я сразил его на месте, он сразу поверил мне.

Я солгал ему, чтобы отвязаться; мы выпили пива и вышли на улицу.

– До свидания!.. Или нет, погодите, – сказал он вдруг. – Я вам ведь должен несколько крон, и мне стыдно, что я до сих пор не вернул их. Но вы получите долг в самом скором времени.

– Спасибо, – сказал я. Но у меня не было сомнений, что он никогда не вернет мне этих денег.

К сожалению, пиво сразу ударило мне в голову, горячей волной разлилось по телу. Я стал думать о минувшем вечере и пришел в смятение. А вдруг она не придет во вторник? Вдруг она одумалась, стала сомневаться! Но в чем ей сомневаться?.. Мысли мои теперь вертелись вокруг денег. Я испугался, мне стало очень страшно за себя. Я припомнил совершенное мной мошенничество во всех подробностях; увидел маленькую лавчонку, стойку, свою худую руку, хватающую деньги, представил себе, как полиция придет и схватит меня. Кандалы на руках и ногах. Нет, только на руках, быть может, лишь на одной руке; решетка, дежурный, составляющий протокол, скрип его пера, его взгляд, уничтожающий взгляд. Ну-с, господин Танген? А потом – одиночная камера, вечный мрак...

Гм! Я стиснул кулаки, постарался ободриться, ускорил шаги и очутился на Стуртувет. Здесь я присел.

Нет, бросьте, я не ребенок, нечего меня морочить! Кто может это доказать? И, кроме того, приказчик не посмеет поднять шум, даже если и вспомнит, как было дело: он слишком дорожит своим местом. Сделайте одолжение, не надо шума и бурных сцен!

Но эти деньги все же тяготили меня, не давали мне покоя. Я начал копаться в себе и неоспоримо установил, что был счастливее прежде, в те дни, когда страдал, имея чистую совесть. А Илаяли! Разве я не увлек ее в грязь грешными своими руками! Господи боже мой! Илаяли!

Теперь я казался себе отвратительным чудовищем, я вдруг вскочил и пошел прямо к торговке пирожками, сидевшей подле аптеки. Еще не поздно было смыть позор, показать всему свету, на что я способен! На ходу я приготовил деньги, держал их все, до последней монетки, в руке, а потом я склонился над лотком, точно хотел что-то купить и, не долго думая, сунул деньги торговке в руку. При этом не сказал ни слова и тотчас же ушел.

Какая это дивная отрада – снова стать честным человеком! Пустые карманы давали мне ощущение легкости, как чудесно было снова стать чистым. Ведь если разобраться, эти деньги, в сущности, возбуждали во мне немало тайной горечи, при мысли о них я всякий раз вздрагивал; ведь у меня не закоснелая душа, моя честность была оскорблена этим низким поступком, да, да! Слава богу, я оправдался в собственных глазах.

– Берите с меня пример! – сказал я, окидывая взором кишашую людьми площадь. – Берите с меня пример! Я осчастливил старую, бедную торговку, вот это дело! Ведь она была в безвыходном положении. Сегодня вечером ее дети не лягут спать голодные...

Я утешал себя такими мыслями и находил, что мое поведение выше всяких похвал. Слава богу, я избавился от этих денег.

Взволнованный, опьяненный, я шел по улице, гордо подняв голову. Я ликовал при мысли, что пойду к Илаяли чистым и честным, смогу глядеть ей прямо в глаза; ничто больше меня не мучило, мысли прояснились, исчезла тяжесть в голове, которая, казалось, была теперь отлита из прозрачного света. Мне хотелось шутить, выкидывать небывалые штуки, перевернуть вверх дном весь город, поднять страшный шум. Я шел через Гренсен как

безумный; в ушах у меня слегка шумело, хмельная радость обуревала душу. В порыве безрассудной смелости я сообщил, сколько мне лет, рассыльному, который встретился мне по пути, но он не сказал ни слова, а я схватил его за руку, пристально посмотрел ему в лицо и пошел дальше, никак не объяснив свой поступок. Я прислушивался к голосам и смеху прохожих, поглядывал на птичек, прыгавших по тротуару, присматривался к булыжникам мостовой и находил в их расположении различные знаки и странные фигуры. Наконец я вышел на площадь, к стортингу.

Остановившись как вкопанный, я смотрю на извозчиков. Они расхаживают по площади и переговариваются, а лошади стоят, понунив головы, удрученные скверной погодой. «Ну, вперед!» – сказал я себе и подтолкнул себя локтями. Я быстро подошел к первой коляске и сел.

– Уллевольсвейен, тридцать семь! – крикнул я.

И мы поехали.

По дороге извозчик начал оборачиваться назад, поглядывать на меня, сидевшего под просмоленным холстом. Неужели он что-то заподозрил? Не было ни малейшего сомнения, что мое поношенное платье обратило на себя его внимание.

– Мне нужно навестить одного господина! – крикнул я ему, чтобы предупредить его расспросы. И я убедительно объяснил ему, как мне необходимо навестить этого господина.

Мы останавливаемся у дома номер тридцать семь, я выскакиваю, бегом поднимаюсь по лестнице на третий этаж и дергаю звонок, который отчаянно дребезжит.

Горничная отворяет дверь; я обращаю внимание на то, что в ушах у нее золотые серьги, а на серой блузке черные пуговицы. Она испуганно смотрит на меня.

Я спрашиваю Хьерульфа, Иоахима Хьерульфа, ну, того, который торгует шерстью, одним словом, его ни с кем не спутаешь...

Горничная качает головой.

– Хьерульф здесь не живет, – говорит она.

Взглянув на меня, горничная хочет закрыть дверь. Она произнесла эту фамилию легко, без малейшей запинки, словно действительно знает человека, которого я ищу, только ей лень вспоминать. В ярости я повернулся к ней спиной и сбежал вниз по лестнице.

– Его нет здесь! – крикнул я извозчику.

– Нет здесь?

– Нет. Поезжайте на Томтегатен, номер одиннадцать.

Мое волнение отчасти передалось кучеру; он, видно, подумал, что надо спасать человеческую жизнь, и тотчас же рванул с места. Он громко понукал лошадей.

– А как фамилия этого господина? – спросил он, обернувшись на козлах.

– Хьерульф, тот, что торгует шерстью. Хьерульф.

Извозчику тоже показалось, что он знает этого человека. А не носит ли он светлого костюма?

– Как вы сказали? – воскликнул я. – Светлого костюма? Да вы в своем уме? Что я, по-вашему, шутки шутить буду?

Этот светлый костюм испортил мне всю музыку, ведь я представлял себе Хьерульфа совсем не таким.

– Как бишь его фамилия? Хьерульф?

– Ну, да, – ответил я. – А что тут странного? В этой фамилии ничего плохого нет.

– А он не рыжий?

Вполне возможно, что он рыжий, и когда извозчик упомянул об этом, я вдруг твердо решил, что так оно и есть. Я был признателен извозчику и сказал, что он сразу сообразил, кого я ищу; ведь все обстоит именно так, как он говорил.

– Было бы весьма странно, – заметил я, – не окажись он рыжим.

– Стало быть, его-то я и возил раза два, – сказал кучер. – У него еще была в руке суковатая палка.

Тут уж этот человек встал предо мною как живой, и я сказал:

– Хе-хе, никто еще не видал этого господина без суковатой палки в руке. Уж на этот счет будьте спокойны, будьте совершенно спокойны.

Да, без сомнения, это был тот самый человек, которого он возил. Он узнал его...

Мы ехали так быстро, что из-под подков сыпались искры.

Хотя я был очень взволнован, я ни на миг не потерял присутствия духа. Мы проехали мимо постового, и я обратил внимание, что у него бляха с номером 69. Это число поражает меня до глубины души, вонзается мне в мозг, как заноза. 69, именно 69, уж я не забуду!

Я откинулся на спинку сиденья, весь во власти диких фантазий, съезжился под просмоленным холстинным верхом, чтобы никому не было видно, как я шевелю губами, и начал самым нелепым образом разговаривать сам с собой. Безумие бушевало в моем мозгу, и я дал ему волю, вполне сознавая, что стал жертвой порывов, противостоять которым не в силах. Я начал смеяться, безмолвно и неистово, без малейшего к тому повода, веселый и пьяный от двух кружек пива. Мало-помалу мое возбуждение проходит, я все более успокаиваюсь. Я чувствую, как ноет у меня палец, и сую его за ворот рубахи, чтобы немного согреть. Но вот мы на Томтегатен. Извозчик останавливается.

Я вылезаю из коляски медленно, ни о чем не думая, отяжелевший, с головой, словно налитой свинцом. Я прохожу через подъезд, оттуда – во двор, пересекаю его наискось, оказываюсь перед дверью, открываю ее и вижу перед собой как бы прихожую в два окна. Там, в углу, два сундука, один на другом, а у стены старая, некрашеная лежанка, покрытая ковром. Справа, в соседней комнате, слышится голос и детский крик, а надо мной, во втором этаже, удары молотка по железу. На все это я обращаю внимание сразу, как только вхожу.

Я преспокойно иду через всю квартиру к другой двери, не торопясь, не помышляя о бегстве, отворяю ее и выхожу на соседнюю улицу. Я смотрю на дом, через который только что прошел, и читаю вывеску «Пансионат для приезжих».

У меня нет намерения бежать, скрыться от извозчика, который меня ждет; я преспокойно иду по улице, без всякого страха, не чувствуя за собой ничего дурного. Хьерульф, торговец шерстью, так долго занимавший мои мысли, человек, в существование которого я верил и которого мне непременно нужно было найти, вдруг исчез, испарился вместе с другими безумными выдумками, которые появлялись, а потом исчезали; теперь он маячил передо мною лишь как смутный образ, как далекое воспоминание.

Чем дальше я шел, тем рассудительней становился, я чувствовал тяжесть и усталость, еле волочил ноги. А снег все падал большими мокрыми хлопьями. Наконец я вышел на Гренланн, к самой церкви, и там присел на скамейку отдохнуть. Прохожие с удивлением смотрели на меня. Я погрузился в раздумье.

Великий боже, как я обездолен! Вся моя жалкая жизнь так постыла мне, я так бесконечно устал, что больше не стоит труда бороться, не стоит поддерживать ее. Невзгоды доконали меня, они были слишком суровы; я совершенно разбит, стал собственной жалкой тенью. Плечи мои поникли, перекошились, я ходил скрючившись, чтобы хоть немного унять боль в груди. Два дня назад, у себя дома, я осмотрел свое тело – и не мог удержать слез. Несколько недель я не менял рубашки, она вся задубела от пота и до крови натирала мне пупок; растертое место кровоточило, и хотя боли я не чувствовал, было так грустно носить на себе эту рану. Я не мог ее залечить, и сама по себе она не заживала; я промыл ее, осторожно вытер и снова надел ту же рубашку. Что ж было делать...

Я сижу на скамейке, думаю обо всем этом, и мне очень грустно. Я противен себе; даже руки мои кажутся мне омерзительными. Эти слабые, до непристойности немощные руки вызывают у меня досаду; я сержусь, глядя на свои тонкие пальцы, ненавижу свое хилое тело, содрогаюсь при мысли, что должен влачить, ощущать эту брэнную оболочку. Господи, хоть бы все это скорей кончилось! Как я хочу умереть!

Совершенно растоптанный, оскверненный и униженный в собственных глазах, я безотчетно встал и пошел домой. По дороге я увидел вывеску над воротами: «Йомфру Андерсен, лучшие саваны, в подворотне направо». «Какие воспоминания!» – сказал я, и мне вспомнился мой чердак на Хаммерсборг, маленькая качалка, газетные обои вокруг двери,

объявление смотрителя маяка и свежий хлеб булочника Фабиана Ольсена. Ах, в то время мне жилось куда лучше, чем теперь; однажды ночью я написал фельетон, за который мне уплатили десять крон, теперь же я больше ничего не мог написать, совсем ничего, стоило мне приняться за дело, и все мысли исчезали у меня из головы. Да, пора, кончать! Я шел, не останавливаясь.

По мере того как я подходил к мелочной лавке, мной все неотвязнее овладевало смутное ощущение опасности; но я был тверд в решении добровольно сознаться в своем поступке. Вот я преспокойно поднимаюсь по ступенькам, в дверях сталкиваюсь с маленькой девочкой, которая несет чашку, пропускаю ее и закрываю за собой дверь. Приказчик и я снова оказываемся с глазу на глаз.

– Скверная погода, не правда ли? – говорит он.

К чему эти увертки? Почему он не схватил меня сразу? Охваченный яростью, я говорю:

– Я пришел вовсе не за тем, чтобы болтать о погоде.

Моя горячность смущает его, этот ничтожный торгаш ничего не может взять в толк; ему и в голову не приходит, что я украл у него пять крон.

– Разве вы не знаете, что я обжулил вас? – с раздражением говорю я и весь дрожу, задыхаюсь, готовый заставить его действовать, если он станет еще мешкать.

Но он, бедняга, ни о чем не подозревает.

Ах ты господи, среди каких глупцов приходится жить! Я осыпаю его бранью, в подробности объясняю, как было дело, показываю ему, где я стоял и где стоял он, когда это произошло, где лежали деньги, как я их взял и зажал в кулаке, – и до него наконец доходит, но он все равно не предпринимает ничего. Он только вертит головой, прислушивается к шагам за стенкой, делает мне знаки, чтобы я говорил потише, и наконец изрекает:

– Да, вы поступили нехорошо!

– Нет, погодите! – кричу я, обуреваемый духом противоречия, стараясь вывести его из себя. – Вы жалкий торгаш, где вам понять, но я поступил не так уж подло! Не думайте, что я присвоил эти деньги, нет, я не собирался ими воспользоваться, ведь я честный человек и мне это противно...

– Что же вы с ними сделали?

– Да будет вам известно, что я отдал их бедной старухе, все, до последней монетки. Такой уж я человек, у меня сердце не каменное, я жалею бедняков...

Он задумался, у него нет уверенности в том, что я честный человек. Наконец он спрашивает:

– А отчего вы не вернули деньги?

– Да поймите же, – нагло отвечаю я. – Мне не хотелось причинять вам неприятности, я решил пощадить вас. И вот награда за благородство. Я пришел сюда и вот уже сколько времени объясняю вам, как было дело, а вы, совсем потеряв стыд, и не думаете сводить со мной счеты. Поэтому я умываю руки. И вообще, ну вас к черту. Имею честь!

Я ушел, громко хлопнув дверью.

Но когда я вернулся в свое жилище, в эту сумрачную дыру, весь вымокший от сырого снега, моя воинственность вдруг исчезла, и я опять сник. Я пожалел, что так напал на бедного приказчика, я плакал, хватал себя за горло, дабы наказать себя за подлую выходку, и каялся. Он, конечно, насмерть перепугался за свое место и не посмел поднять шум из-за этих пяти недостающих крон. А я воспользовался его страхом, кричал на него, язвил его каждым словом. А сам хозяин, пожалуй, был за стенкой и каждую минуту мог выйти поглядеть, что случилось. Правда, мыслима ли худшая низость!

Эх, почему меня не задержали? Тогда все было бы кончено. Я сам дал бы надеть на себя кандалы. Не оказал бы ни малейшего сопротивления, – напротив, помог бы себя арестовать. Господи всемогущий, я жизнь готов отдать за единый миг счастья! Всю свою жизнь – за чечевичную похлебку! Хоть на этот раз внемли моим мольбам!..

Я лег спать в мокрой одежде; у меня была смутная мысль, что ночью я могу умереть, и, собрав последние силы, я привел в порядок свою постель, чтобы утром она выглядела

прилично. Я улегся и скрестил руки на груди.

И вдруг мне вспомнилась Илаяли. Как мог я не вспоминать о ней целый вечер! В моей душе снова начинает брезжить свет, тоненький солнечный лучик, от которого мне так благостно тепло. Солнце светит все ярче, это кроткое, нежное, ласковое сияние, сладко опьяняющее меня. А потом солнце начинает жечь, опалает мои виски, пожирает свирепым пламенем мой измученный мозг. Теперь перед глазами у меня сверкает костер, небо и земля объаты пожаром, передо мною огненные люди и звери, огненные горы, огненные дьяволы, бездна, пустыня, весь мир пылает, дымный пламень Судного дня.

Больше я ничего не видел и не слышал...

На другой день я проснулся весь в поту; меня трепала жестокая лихорадка. Поначалу я плохо понимал, что со мной случилось, с удивлением озирался, чувствуя в себе какой-то перелом, совершенно не узнавая себя. Я ощупывал свои руки и ноги, изумлялся, что окно в этой стене, а не в противоположной; со двора слышались удары лошадиных копыт, а мне казалось, будто эти звуки доносятся откуда-то сверху. И к тому же меня тошнило...

Мокрые, холодные волосы упали мне на лоб; я приподнялся на локте и посмотрел на подушку: мокрые волосы лежали и здесь мелкими клочьями. Ноги, обутые в башмаки, распухли за ночь, я с трудом мог шевелить пальцами.

Время близилось к вечеру, уже начало смеркаться, поэтому я встал с постели и принялся бродить по комнате. Я семенил осторожными шажками, чтобы не потерять равновесия и уберечься от боли в ногах. Я не очень страдал, и мне не хотелось плакать, вообще я не был печален, наоборот, я был очень радостен и уже не желал иной судьбы.

Потом я вышел из дому.

Единственное, что меня все же мучило, несмотря на отвращение к пище, был голод. Я снова начал чувствовать низменный аппетит, сосущее ощущение в животе, которое становилось все сильнее. Боль немилосердно терзала мою грудь, там шла какая-то безмолвная, странная возня. Казалось, с десятков крошечных зверьков грызли ее то с одной, то с другой стороны, потом затихали и снова принимались за дело, бесшумно вгрызались в меня, выедали целые куски...

Я не заболел, но был истощен и обливался потом. Я надеялся отдохнуть на площади, но путь туда был долог и тяжел; и все же я добрался туда, остановился на углу улицы, вливавшейся в площадь. Пот стекал мне в глаза, застилал стекла очков, слепил меня, и я остановился, чтобы вытереть лицо. Я не видел, где стоял, не думал об этом; вокруг раздавался оглушительный шум.

Вдруг слышится окрик, громкий, отрывистый: «Поберегись!» Я слышу этот окрик, я отлично слышу его и шарахаюсь в сторону, делаю быстрый шаг, насколько мне позволяют слабые ноги. Хлебный фургон, словно свирепое чудовище, пронесется мимо, колесом задевает полу моей куртки; будь я немного проворнее, все кончилось бы благополучно. Я, пожалуй, мог бы быть попроворнее, чуть-чуть попроворнее, сделай я еще небольшое усилие; но теперь было уже поздно, колесо проехало по мне и отдавило на ногу пальцы; я чувствовал, что два пальца как бы перекошились.

Кучер на всем ходу осадил лошадей; он оборачивается и испуганно спрашивает, что со мной. О, могло быть гораздо хуже... Не бог весть, как страшно... не думаю, чтобы был перелом... Ах, сделайте милость...

Я как мог быстрее поплелся к скамейке; толпа, глазевшая на меня, была мне неприятна. Ведь меня же не задавило насмерть, и раз уж это было неизбежно, я отделался довольно легко. Хуже всего было то, что пострадал башмак, подошва почти совсем оторвалась, и носок походил на разинутую пасть. Я поднял ногу и увидел в этой пасти кровь. Что ж, никто из нас не виноват, кучер вовсе не хотел усугублять мое и без того скверное положение. Но я мог бы попросить его бросить мне небольшой хлебец, и он, пожалуй, не отказал бы в моей просьбе. Он охотно сделал бы мне такую услугу. Да пребудет же с ним милость господня за это!

Голод нестерпимо мучил меня, и я не знал, как мне избавиться от своего постыдного

аппетита. Я ерзал на скамейке, потом подобрал колени к груди. Когда стемнело, я поплелся к ратуше – бог знает, как я добрался туда, – и сел у балюстрады. Я оторвал карман от своей куртки и принялся жевать его, впрочем, совершенно бессознательно, насупясь, устремив глаза в пустоту и ничего не видя. Я слышал крики детей, игравших подле меня, и время от времени смутно угадывал прохожих; больше я не воспринимал ничего.

Потом мне вдруг пришло в голову пойти на рынок и раздобыть кусок сырого мяса. Я встал, прошел вдоль балюстрады к дальнему концу крытого рынка и стал спускаться по лестнице. Немного не доходя до мясных рядов, я обернулся назад и сердито прикрикнул на воображаемую собаку, словно приказывая ей остановиться на месте, а потом смело обратился к первому попавшемуся мяснику.

– Не откажите в любезности, дайте кость для моей собаки! – сказал я. – Только кость, без мяса: просто собаке нужно держать что-нибудь в зубах.

Мне дали кость, превосходную косточку, на которой еще оставалось немного мяса, и я спрятал ее под курткой. Я так горячо благодарил мясника, что он посмотрел на меня с изумлением.

– Не стоит благодарности, – сказал он.

– Ах, не говорите, – пробормотал я. – Вы так любезны.

И я стал подыматься по лестнице. Сердце мое колотилось.

Я свернул в глухой переулок и остановился у каких-то развалившихся ворот. Здесь было совсем темно, и я, радуясь этой благодатной темноте, стал глотать кость.

Она была безвкусна; от нее исходил омерзительный запах спекшейся крови, и меня вскоре стошнило. Потом я снова попробовал приняться за кость; если б я мог удержать хоть кусочек, это, конечно, оказало бы свое действие, нужно было только удержать. Но меня снова стошнило. Я рассердился, решительно оторвал зубами кусочек мяса и насильно проглотил его. Но все было тщетно; как только кусочки мяса согревались в животе, они тотчас извергались оттуда. Я в неистовстве стискивал кулаки, плакал от бессилия и яростно грыз кость; я обливался слезами, кость стала грязной и мокрой от этих слез, меня рвало, я выкрикивал проклятия, снова грыз кость и плакал в отчаянье, и меня снова рвало. Я громко проклинал весь божий свет.

Тишина. Вокруг ни души, всюду темнота и безмолвие. Моя душа в страшном смятении, я тяжело и шумно дышу, обливаясь слезами, и со скрежетом зубным извергаю из себя один за другим кусочки мяса, которые могли бы хоть немного меня насытить. Я ничего не могу поделать, как ни стараюсь, и в бессильной ярости, в неистовой злобе швыряю кость в подворотню, дико кричу, возношу хулы к небу, хриплым, надтреснутым голосом измываюсь над именем Божиим, воздеваю руки со скрюченными, как когти, пальцами... Эй ты, всевышний Ваал, тебя нет, но если б ты был, я проклял бы тебя так ужасно, что в небе твоим воспылал бы адский пламень. Эй ты, я готов был служить тебе, но ты отринул меня, и теперь я навеки от тебя отвернулся, потому что ты упустил свой час. Эй ты, я знаю, что скоро умру, и сейчас, у двери гроба, я все равно плюю на тебя, всевышний Апис. Ты хотел подчинить меня силой, не зная, что меня нельзя сломить. Неужели ты не знаешь этого? Или ты сотворил сердце мое во сне? Эй ты, всем своим существом, всеми фибрами души я презираю тебя, я торжествую и плюю на твою благодать. Отныне я отрекаюсь от твоего промысла и твоей сущности, я прокляну самую свою мысль, если она вновь обратится к тебе, и раздеру свои уста, если они вновь произнесут имя твое. Эй ты, если ты есть, вот тебе мое последнее слово, – ныне, и присно, и во веки веков я говорю тебе: прощай. Я умолкаю, и отворачиваюсь от тебя, и пойду дальше своей дорогой...

Тишина.

Я весь дрожу от волнения и страданий, я не двигаюсь с места и все шепчу проклятья и хулы, всхлипывая и горько рыдая, разбитый и обессиленный безумной вспышкой ярости. Ах, все это книжные разглагольствования, даже в своем ничтожестве я стараюсь выразиться красиво. Я стою у ворот с полчаса, и шепчу, и всхлипываю, схватившись за столб. Вдруг я слышу голоса, двое прохожих приближаются ко мне, о чем-то разговаривая. Отпрянув от

ворот, я плетусь вдоль домов и снова выхожу на освещенные улицы. Когда я спускаюсь с Юнгсбаккена, в моем мозгу вдруг начинают твориться очень странные вещи. Мне кажется, будто жалкие лачужки на краю площади, сараи и ветхие склады подержанного платья все портят. Они портят площадь, уродуют весь город, – тьфу, долой эти развалины! Я стал подсчитывать в уме, много ли потребовалось бы затрат, чтобы перенести сюда Географический институт, красивое здание, которое всегда восхищало меня, когда я проходил мимо. Пожалуй, приняться за такое дело невозможно без капитала в семьдесят или даже в семьдесят две тысячи крон, – кругленькая сумма, шутка сказать, порядочный капиталец для начала, хе-хе. Голова у меня была словно бы пустая, когда я кивнул, подтверждая, что для начала это порядочный капиталец. Меня все так же била дрожь, и время от времени я всхлипывал.

У меня было такое чувство, что жизнь почти покинула меня и песенка моя спета. Но это было мне, в сущности, безразлично, это нисколько меня не беспокоило. Напротив, я шел через город, к порту, все более удаляясь от своего жилья. Я вполне мог бы лечь прямо на улице и умереть. От страданий я стал безучастным; искалеченные пальцы на ноге болели, мне казалось даже, что боль распространилась вверх до самого бедра, но и это не очень меня тревожило. Я пережил гораздо худшие страдания.

И вот я вышел к железнодорожному мосту. Здесь не было никакого движения, никакого шума, только изредка попадались люди – рыбак или матрос, который разгуливал, заложив руки в карманы. Я обратил внимание на хромого человека, который пристально взглянул на меня, когда мы с ним поравнялись. Я невольно остановил его, приподнял шляпу и спросил, не знает ли он, отплыл ли «Монах». При этом я не удержался, щелкнул пальцами перед самым его носом и сказал:

– Черт возьми, «Монах»! Ведь я совсем позабыл о нем!

Все-таки мысль об этом судне, помимо воли, сидела во мне.

– Да, как назло, «Монах» отплыл.

– А не можете ли сказать мне, куда?

Он задумался, приподняв хромую ногу и чуть покачивая ею.

– Нет, – говорит он. – Но знаете ли вы, чем он грузился?

– Нет, – отвечаю я.

Но меж тем я уже позабыл про «Монаха» и расспрашиваю хромого о расстоянии до Хольмстранна, если считать по старинке, на географические мили.

– До Хольмстранна? Пожалуй...

– Или до Веблунгснеса?

– Так вот, стало быть: до Хольмстранна, пожалуй...

– Послушайте, чтобы не забыть, – снова перебиваю я его. – Будьте добры, дайте мне щепотку табаку, совсем маленькую щепотку!

Получив табак, я горячо поблагодарил его и ушел. Табаком я так и не воспользовался, я тотчас же сунул его в карман. Хромой смотрел мне вслед – быть может, я чем-то возбудил в нем подозрение; куда бы я ни шел, я чувствовал на себе его подозрительный взгляд, и мне не нравилось, что этот человек преследует меня. Я повернулся, снова подошел к нему, посмотрел на него и сказал:

– Скорняк.

Только одно это слово: скорняк. Не более того. Говоря это, я пристально вглядывался в него, я чувствовал, как ужасен мой взгляд; словно бы я смотрел на него с того света.

Произнеся это слово, я некоторое время стою на месте. Потом снова плетусь к вокзалу. Хромой не издал ни звука, он только провожает меня глазами.

Скорняк? Я вдруг остановился. Как же я сразу не понял? Ведь я уже встречал этого калеку. На Гренсене, в ясное утро; я тогда заложил жилет. Мне казалось, что с того дня прошла целая вечность.

Я стою и размышляю об этом, – стою, прислонившись к стене дома на углу площади и Портовой улицы, – и вдруг вздрагиваю, пытаюсь скрыться. Но мне это не удается, и тогда,

забыв всякий стыд, я поднимаю голову, так как ничего другого мне не остается, – и оказываюсь лицом к лицу с «Командором».

Неведомо откуда берется у меня дерзость, я даже отхожу на шаг от стены, чтобы он мог получше меня разглядеть. И я делаю это не для того, чтобы пробудить в нем сострадание, – я хочу себя унижить, поставить себя к позорному столбу; я готов был упасть на землю и просить «Командора» растоптать меня, наступить мне на лицо. Я даже не пожелал ему доброго вечера.

«Командор», видно, догадался, что со мной неладно, он замедляет шаг, а я, чтобы остановить его, говорю:

– Я хотел принести вам кое-что, но все никак не закончу...

– Вот как? – с сомнением говорит он. – Стало быть, вы еще не закончили?

– Нет, никак не закончу.

Я чувствую участие «Командора», и глаза мои наполняются слезами, я отхаркиваюсь и надрывно кашляю, стараясь взять себя в руки. «Командор» сморкается; он пристально смотрит на меня.

– А есть у вас на что жить? – спрашивает он.

– Нет, – отвечаю я. – У меня ничего нет. Я совсем не ел сегодня, но...

– Господь с вами, дружище, можно ли допустить, чтобы вы умирали с голоду! – говорит он. И тотчас начинает шарить в кармане.

Но тут во мне просыпается стыд, я, шатаюсь, снова отхожу к стене и хватаюсь за нее, я смотрю, как «Командор» роется в бумажнике, и молчу. Он протягивает мне десять крон. Не раздумывая, он просто-напросто дает мне десять крон. При этом он повторяет, что невозможно допустить, чтобы я умирал с голоду.

Я, запинаясь, пробую отказаться и не сразу беру бумажку.

– Мне, право, стыдно... и, кроме того, тут слишком много...

– Берите скорей! – говорит он и смотрит на часы. – Мне надо на поезд, и я слышу, что он уже подходит.

Я взял деньги, онемев от радости, и не сказал больше ни слова, даже не поблагодарил его.

– Не стесняйтесь, – говорит «Командор» на прощанье. – Ведь вы же отработаете.

И он ушел.

Глядя ему вслед, я вдруг вспомнил, что не успел поблагодарить его за помощь. Я хотел догнать его, но не мог двинуться с места, ноги отказывались мне служить, я стал бы падать на каждом шагу. А он уходил все дальше и дальше. Я не пошел за ним, хотел окликнуть его, но не сразу решился, и когда я наконец все-таки собрался с духом и окликнул его раз, потом другой, он отошел уже далеко, а голос мой был слишком слаб.

Я остался на улице, смотрел ему вслед и тихо-тихо плакал.

«Неслыханное дело! – сказал я про себя. – Он дал мне десять крон!»

Я встал на то место, где только что стоял он, и начал повторять все его движения. И я поднес бумажку к глазам, мокрым от слез, осмотрел ее с обеих сторон и поклялся – громко, во всеуслышание поклялся, что это правда и у меня в руке действительно десять крон.

Через некоторое время – быть может, прошло бесконечно много времени, потому что вокруг стало совсем тихо, – я неожиданно очутился на Томтегатен, у дома номер одиннадцать. Ведь здесь я обманул извозчика, который меня возил, здесь же, никем не замеченный, я пробрался через двор на другую улицу. Я постоял немного, опомнился и, удивляясь себе, снова вошел в ворота и направился прямо в «Пансионат для приезжих». Здесь я попросился на ночлег, и мне тотчас же предоставили постель.

Вторник.

Солнечный свет и тишина, день поразительно ясный. Снег растаял; всюду оживление, веселье, радостные лица, улыбки и смех. Над фонтанами круто взмывают водяные струи, золотистые от солнца, голубоватые от небесной синевы...

Около полудня я вышел из дома на Томтегатен, где я теперь жил в довольстве

благодаря десяти кронам «Командора», и отправился в город. Я был в прекрасном расположении духа и до вечера бродил по самым оживленным улицам, рассматривая пеструю толпу. Задолго до семи вечера я прошелся до площади Святого Улафа и украдкой взглянул на окна в доме номер два. Через час я увижу ее! У меня захватывало дух. Что будет? Что я ей скажу, когда она спустится по лестнице? Добрый вечер, фрекен? Или просто улыбнусь? Я решил ограничиться улыбкой. Разумеется, я почтительно ей поклонюсь.

Я ушел с площади, немного стыдясь, что явился так рано, стал бродить по улице Карла-Юхана, почти не спуская глаз с часов на университете. В восемь я снова свернул на Университетскую улицу. По дороге я сообразил, что опаздываю, и прибавил шагу. Сильно болела нога, – если б не это, я был бы совершенно счастлив.

У фонтана я остановился перевести дух; я долго стоял там и смотрел на окна дома номер два; но она не появлялась. Что ж, я могу подождать, спешить мне некуда; ведь ее могли задержать. И я ждал. Но не приснилось ли мне все это? Может быть, я просто вообразил прошлую встречу, ведь я всю ночь пролежал в бреду? В нерешительности я стал раздумывать об этом, и меня одолевали сомнения.

– Гм!

Кто-то кашлянул у меня за спиной.

Я слышу этот кашель, слышу и легкие шаги, но не оборачиваюсь, а пристально смотрю на большую лестницу.

– Добрый вечер! – слышу я, немного погодя.

Я забываю улыбнуться и даже не сразу снимаю шляпу, – так я удивлен, что она пришла с той стороны.

– Вы долго ждали? – спрашивает она, часто дыша.

– Нет, помилуйте, я пришел совсем недавно, – ответил я. – Да, кроме того, велика ли беда, если мне и пришлось подождать? Впрочем, я думал, что вы придете с другой стороны.

– Я провожала маму, ее сегодня пригласили в гости.

– Вот как! – говорю я.

И мы идем. Полицейский, стоящий на углу, смотрит на нас.

– Но куда мы, собственно, пойдем? – спрашивает она и останавливается.

– Куда вам будет угодно.

– Ах, но ведь это так скучно – выбирать самой.

Пауза.

Потом я говорю, лишь бы сказать что-нибудь:

– Я вижу, у вас в окнах темно.

– Да, конечно! – оживленно отвечает она. – Горничная отпросилась и ушла. У нас никого нет.

Мы останавливаемся и смотрим на окна дома номер два, словно никогда их раньше не видели.

– В таком случае, не пойти ли к вам? – говорю я. – Если разрешите, я посижу у двери...

Я весь дрожал и очень пожалел, что позволил себе такую смелость. Что, если она обидится и уйдет? Что, если я не увижу ее больше? Ах, мои жалкие отрешья! Я в отчаянье ждал ответа.

– Но вам, право, незачем сидеть у двери, – говорит она.

Мы стали подниматься по лестнице.

В прихожей было темно, она взяла меня за руку и повела за собой. Не нужно все время молчать, сказала она, можно разговаривать не стесняясь. Мы вошли. Зажигая свечу, – не лампу, а именно свечу, – зажигая эту свечу, она сказала с коротким смешком:

– Только вы не должны смотреть на меня. Ах, как мне стыдно. Но я никогда больше не сделаю этого.

– Чего вы больше не сделаете?

– Я никогда... нет, боже упаси... я никогда больше не стану вас целовать.

– Не станете? – сказал я, и мы оба засмеялись.

Я протянул к ней руки, а она уклонилась, выскользнула, перебежала по другую сторону стола. Некоторое время мы смотрели друг на друга, и свеча стояла между нами.

Потом она стала снимать вуаль и шляпку, а ее блестящие глаза были устремлены на меня, следили за каждым моим движением, – она боялась, как бы я не схватил ее в объятия. Я снова попытался ее настичь, споткнулся о ковер и упал; я больше не мог ступить на больную ногу. В смущении я встал.

– Боже, как вы покраснели! – сказала она. – Вам очень больно?

– Да, очень.

И мы снова стали бегать вокруг стола.

– Вы, кажется, хромаете?

– Да, я прихрамываю, но совсем немного.

– В прошлый раз у вас болел палец на руке, а теперь болит нога. Сколько же у вас всяких бед!

– Несколько дней назад меня чуть не задавил фургон.

– Чуть не задавил? Вы, верно, опять были пьяны? Господи, какую жизнь вы ведете, молодой человек! – Она погрозила мне пальцем и стала серьезна. – Давайте сядем! – сказала она. – Нет, только не у двери; вы слишком застенчивы, сядьте вон там. Вы там, а я здесь, вот так... Ах, как это скучно, когда человек застенчив! Все приходится говорить и делать самой, а от вас никакой помощи. Вот, к примеру, вы вполне могли бы положить руку на спинку моего стула, вполне могли бы сами догадаться это сделать. А если я вам это скажу, вы уставите на меня, как будто не верите своим ушам. Да, да, я уже не раз замечала, вот и теперь то же самое. Но не пытайтесь меня убедить, будто вы всегда так скромны, иногда вы много себе позволяете. Вы были весьма дерзки в тот день, когда, подвыпив, шли за мной до самого дома и преследовали меня своими шуточками: «Вы потеряете книгу, фрекен, вы непременно потеряете книгу, фрекен!» Ха-ха-ха! Фуй, вы были такой гадкий!

Я смущенно смотрел на нее. Сердце мое сильно стучало, кровь горячей волной разливалась по телу. Какое наслаждение снова сидеть в человеческом жилище, слушать тиканье часов и разговаривать с юной, веселой девушкой, а не бормотать что-то себе под нос.

– Почему вы молчите?

– Как вы очаровательны! – сказал я. – Вы меня покорили, совершенно покорили, я сражен на месте. Никуда не денешься. Вы – самая удивительная из всех... Порой ваши глаза так сияют, я никогда не видел столь чудесного сияния, они подобны цветам. А? Нет, я даже сравнил бы их не с цветами, но... Я страстно влюблен в вас и очень страдаю. Как вас зовут? Вы непременно должны мне сказать, как вас зовут...

– А вас как зовут? Боже, я опять чуть не забыла! Вчера я целый день думала, что нужно будет спросить вас. Нет, вовсе не целый день, я не думала о вас целый день.

– Знаете, как я прозвал вас? Я прозвал вас Илаяли. Как вам это покажется? Тут есть неуловимый звон...

– Илаяли?

– Да.

– Это на каком-нибудь иностранном языке?

– Гм!.. Нет, отнюдь нет.

– Да, это недурно.

После долгих разговоров мы назвали друг другу свои имена. Она села рядом со мной на диван, отодвинула стул ногой. И мы снова начали болтать.

– Вы даже побрились сегодня, – сказала она. – И вообще вы гораздо лучше выглядите, чем в прошлый раз, правда, вы несколько малы ростом, но не подумайте... Нет, в прошлый раз у вас был действительно невзрачный вид. К тому же палец вы перевязали какой-то отвратительной тряпкой. И в таком виде вы непременно хотели пойти куда-нибудь выпить со мной вина. Нет уж, спасибо.

– Стало быть, вы не хотели пойти со мной из-за моего жалкого вида? – спросил я.

– Нет, – сказала она и опустила глаза. – Нет, свидетель бог, не поэтому! Я об этом даже не думала.

– Послушайте, – сказал я. – Вы, конечно, полагаете, что я могу жить и святым духом, одеваться, как вам вздумается? Но я не могу, я очень, очень беден.

Она посмотрела на меня.

– Вы бедны? – переспросила она.

– Да, беден.

Пауза.

– Господи, но ведь я тоже бедна, – сказала она и гордо вскинула голову.

Каждое ее слово пьянило меня, проникало мне в душу, подобно капле вина, хотя это была самая обыкновенная девушка, говорившая на жаргоне, довольно развязная и болтливая. Она восхищала меня своей привычкой склонять голову набок и внимательно слушать, когда я говорил что-нибудь. При этом я чувствовал ее дыхание на своем лице.

– Вы знаете, дело в том... но только вы не сердитесь... Когда я лег вчера спать, я протянул к вам руку... вот так... как будто вы лежали рядом. И потом уснул.

– Вот как? Очень мило. – Пауза. – Но вы могли сделать это только на расстоянии, – ведь иначе...

– Вы думаете, иначе я не мог бы сделать этого?

– Думаю, что нет.

– Ну уж, от меня вы можете всего ожидать, – сказал я, лукаво взглянув на нее.

И обнял ее за талию.

– Всего? – переспросила она.

Она считала меня слишком уж порядочным человеком, это меня сердило и оскорбляло; я приосанился, набрался смелости и взял ее за руку. Но она преспокойно отняла руку и несколько отодвинулась от меня. Это опять лишило меня смелости, я устыдился и стал смотреть в окно. Все равно я был жалок, мне не следовало так много мнить о себе. Другое дело, если б я встретил ее раньше, когда я еще был человеком, в лучшие дни, пока дела кое-как шли. Я упал духом.

– Вот видите! – сказала она. – Видите, как легко с вами справиться, достаточно лишь едва заметно нахмурить лоб, чуть-чуть от вас отодвинуться, и вы сразу конфузитесь.

Она игриво засмеялась и крепко зажмурила глаза, словно бы не могла выносить, что на нее смотрят...

– Боже праведный! – воскликнул я. – Вот сейчас я вам покажу!

И я крепко обнял ее за плечи. С ума она сошла, что ли? Принимает меня за неопытного юнца! Ха, мы еще посмотрим... Никто не скажет, что в таких делах я хуже других. Да я сам черт, а не человек! Уж если на то пошло...

Точно я и в самом деле на что-то годился!

Она сидела спокойно, не открывая глаз, и оба мы молчали. Я решительно привлек ее к себе, прижал ее к своей груди, а она не вымолвила ни слова. Я слышал биение наших сердец, громкое, как топот копыт.

Я поцеловал ее.

Больше я не помнил себя, я говорил какие-то глупости, над которыми она смеялась, шептал ей нежные слова, прижимаясь губами к ее губам, гладил ее по лицу, и целовал, целовал. Я расстегнул пуговицу на ее блузке, потом другую, и обнажились груди – они выглядывали из-под сорочки, белые, округлые, чудо из чудес.

– Ах, позвольте взглянуть! – сказал я, стараясь расстегнуть другие пуговицы, еще больше обнажить ее тело; но я слишком распалился и не мог справиться с нижними пуговицами, а лиф был слишком тугой. – Я взглянул немножко... совсем немножко...

Тут она обвивает рукой мою шею, очень медленно и нежно; дыхание вырывается из розовых, трепещущих ноздрей, овеивает мне лицо; другой рукой она начинает сама расстегивать пуговицы, еще и еще. Она смущенно, отрывисто смеется и поглядывает на меня, хочет понять, заметил ли я ее страх. Она развязывает ленты, расстегивает корсет, она

проникнута нежностью и робка. И я своими грубыми руками тоже прикасаюсь к этим пуговицам и лентам...

Чтобы отвлечь внимание, она проводит левой рукой по моим плечам и говорит:

– Сколько тут выпавших волос!

– Да, – шепчу я, стремясь приникнуть губами к ее груди.

Она уже лежит рядом со мной, и платье ее расстегнуто. Но вдруг она, словно опомнившись, решает, что зашла слишком далеко. Она старается прикрыть свою наготу и приподнимается. Маскируя стыд, она снова заводит разговор о том, как много у меня на плечах выпавших волос.

– А почему волосы у вас так выпадают?

– Не знаю.

– Ну, конечно, вы слишком много пьете, наверно, дело тут... Фу, даже сказать совестно! Стыдитесь! Право, от вас я этого не ожидала. Вы так молоды и уже лысеете!.. А теперь соблаговолите рассказать о своей жизни. Я уверена, что она просто ужасна! Но только говорите правду, понимаете, все как есть! Впрочем, если вы что-нибудь скроете, я увижу это по вашему лицу. Ну, рассказывайте!

Ах, до чего я устал! С какой радостью я просто посидел бы спокойно, глядя на нее, вместо того чтобы притворяться и понапрасну тратить силы на эту игру. Я был ни на что не годен, стал тряпкой.

– Начинайте же! – потребовала она.

Я воспользовался случаем и рассказал ей все, рассказал сущую правду. Я не пытался представить дело в более мрачном свете, чем было в действительности, не стремился пробудить в ней сострадания; я не утаил от нее, что присвоил однажды пять крон.

Она слушала, приоткрыв рот, бледная, перепуганная, и в ее блестящих глазах было смущение. Я хотел исправить свою оплошность, рассеять дурное впечатление, которое произвел на нее, и взял себя в руки.

– Но это – дело прошлое, больше такое никогда не повторится: теперь я спасен...

Но она была в совершенной растерянности.

– Господи! – сказала она и умолкла. Потом повторила еще и еще раз: – Господи!

Я попытался шутить, пощекотал ее, привлек ее к себе. Она уже успела застегнуть блузку, и это меня рассердило. Зачем она застегнулась? Разве теперь в ее глазах я стоял ниже, чем было бы в том случае, если б я подтвердил, что волосы у меня выпадают от распутной жизни? Неужели я нравился бы ей больше, если б прикинулся греховодником?.. Довольно болтовни. Нужно действовать решительно. А там, где нужно действовать решительно, я не ударю лицом в грязь.

Настала пора возобновить натиск.

И я, без дальних слов, опрокинул ее на диван. Она сопротивлялась, впрочем, не слишком сильно, и была как будто удивлена.

– Что вы делаете?.. Не надо... – сказала она.

– Что я делаю?

– Нет... не надо...

– Да, да...

– Не надо, слышите! – воскликнула она. И чтобы уязвить меня, добавила: – А знаете, мне кажется, что вы сумасшедший.

Я невольно остановился и сказал:

– Неправда, вы не думаете этого!

– Но у вас такой странный вид! И в то утро, когда вы преследовали меня, – ведь вы тогда не были пьяны?

– Нет. Но я был сыт, я только что поел.

– Что ж, тем хуже.

– Вы предпочли бы, чтобы я был пьян?

– Да... Я вас боюсь! Ради бога, пустите меня!

Я задумался. Нет, я не мог это так оставить, слишком много я терял. Хватит валять дурака на диване, в поздний вечер! Эх, к каким только уловкам не прибегнешь в такое мгновение. Как будто я не знаю, что это – простая стыдливость! Не такой уж я младенец! Спокойно! И довольно пустой болтовни!

Она сопротивлялась весьма решительно, слишком решительно, чтобы это можно было объяснить простой стыдливостью. Я как бы нечаянно опрокинул свечу, стало темно, а она оказывала отчаянное сопротивление и даже издала слабый крик.

– Нет, не надо, не надо! Если хотите, поцелуйте лучше меня в грудь. Милый мой, хороший!

Я сразу остановился. Эти слова прозвучали так испуганно, так беспомощно, что я искренне недоумевал. Она думала вознаградить меня, позволив мне поцеловать ее в грудь! Как это мило, – мило и наивно! Я готов был упасть перед ней на колени.

– Но, моя дорогая! – сказал я в замешательстве. – Я никак не пойму... право, никак не пойму, что это за игра...

Она встала и дрожащими руками зажгла свечу; я снова сел на диван и сидел неподвижно. Что же теперь будет? Я совсем расстроился.

Она взглянула на стенные часы и вздрогнула.

– Ах, скоро вернется горничная, – сказала она.

Это было первое, о чем она подумала.

Я понял ее намек и встал.

Она взяла накидку, как бы собираясь надеть ее, но раздумала, снова положила ее и отошла к камину. Она была бледна и все больше беспокоилась. Чтобы ей не пришлось указать мне на дверь, я спросил:

– Ваш отец был военный?

А сам тем временем встал, собираясь уйти.

– Да, он был военный. А откуда вы знаете?

– Я не знаю, мне просто пришло в голову спросить.

– Как странно!

– О, да. Чутье очень мне помогает. Ха-ха, недаром же я сумасшедший...

Она быстро взглянула на меня, но промолчала. Я чувствовал, что мое присутствие для нее мучительно, и хотел поскорей положить этому конец. Я направился к двери. Неужели она больше не поцелует меня? И даже руки не подаст? Я остановился и ждал.

– Вы уже уходите? – сказала она, по-прежнему стоя у камина.

Я не отвечал. Униженный и растерянный, я смотрел на нее, не говоря ни слова. Ах, я все испортил! Казалось, ей не было никакого дела, что я собираюсь уходить, она словно была теперь навеки потеряна для меня, и я придумывал, что бы сказать ей на прощание, искал значительных, глубоких слов, которые поразили бы ее, подняли бы меня в ее глазах. И, наперекор своему твердому решению, раздосадованный, взволнованный и обиженный, я, вместо того чтобы проститься с ней гордо и холодно, принялся болтать всякий вздор; нужные слова не приходили, я вел себя крайне легкомысленно. В голову снова лезли книжные красоты.

Почему бы ей не сказать мне прямо и открыто, чтобы я ушел? – спросил я. Да, почему? Нечего стесняться. Вместо напоминания, что скоро вернется горничная, она просто-напросто могла сказать так: «Теперь вы должны удалиться, потому что мне пора идти за матерью, и я не хочу, чтобы вы меня провожали». Ей это не пришло в голову? Ах, стало быть, именно это и пришло ей в голову? Так я и думал. Ведь мне так легко указать мое место; довольно было ей взять и снова положить накидку, как я сразу все понял. Ведь я же сказал, что у меня есть чутье. И для этого, в сущности, вовсе не надо быть сумасшедшим...

– Ради бога, простите, что я вас так назвала! Это слово сорвалось у меня с языка! – воскликнула она.

Но она все стояла поодаль и не подходила ко мне.

А я упрямо гнул свое. Я болтал, мучительно чувствуя, что надоел ей, что ни одно мое

слово не достигает цели, и все же не мог остановиться. Я полагаю, можно иметь чувствительное сердце, даже не будучи сумасшедшим; есть натуры, которые отзываются на всякую мелочь, их можно убить одним резким словом. И я намекнул, что у меня именно такая натура. Дело в том, что нищета очень обострила во мне некоторые наклонности, и я весьма сожалею, право, весьма сожалею... Но в этом есть и некая хорошая сторона, это иной раз помогает мне. Интеллигентный бедняк гораздо наблюдательней интеллигентного богача. Бедняк всегда осмотрителен, следит за каждым своим шагом, подозрительно относится к каждому слову, которое слышит; всякий его шаг заставляет напрягаться, работать его мысли и чувства. Он пронизателен, чуток, он искушен опытом, его душа изранена...

Я довольно долго говорил о своей израненной душе. Но чем больше я говорил, тем беспокойнее становилась женщина, к которой я обращался; наконец, в отчаянье ломая руки, она несколько раз повторила:

– О господи! Господи!

Я отлично понимал, что терзаю ее, и вовсе не хотел ее терзать, но все-таки терзал. Наконец я решил, что главное в общем сказано и, тронутый ее полным отчаяньем взглядом, воскликнул:

– А теперь я ухожу, ухожу! Вы же видите, я уже взялся за ручку двери! Прощайте! Прощайте, слышите? Вы могли хотя бы ответить, раз я дважды простился с вами и твердо намерен уйти. Я даже не прошу позволения снова повидаться с вами, потому что это будет вам неприятно. Но скажите: зачем вы меня мучили? Что я вам сделал? Ведь я не стоял у вас на дороге, правда? Почему же вы вдруг отворачиваетесь от меня, как будто мы не знакомы? Ведь вы совсем опустошили меня, я теперь окончательно раздавлен. До видит бог, я не сумасшедший. Если вы дадите себе труд подумать, то прекрасно поймете, что я совершенно здоров. Протяните же мне руку! Или позвольте подойти к вам! Можно? Я вам ничего не сделаю, я только на миг преклоню перед вами колени, встану на колени у ваших ног, всего на одно мгновение, вы позволите? Ну хорошо, я не сделаю этого, я вижу, что вы боитесь, и не сделаю, слышите, не сделаю этого. Но скажите, бога ради, чего вы так боитесь? Ведь я же стою спокойно, даже не шелохнусь. Я просто преклонил бы колени на коврик, вон на том красном узоре у самых ваших ног. Но вы испугались, я сразу увидел по вашим глазам, что вы испугались, и вот я не двинулся с места. Я не сделал ни шагу, когда просил у вас позволения, не так ли? Я стоял неподвижно, как вот сейчас, когда я показал вам место, где хотел опуститься на колени, вон там, на ковре, где красная роза. Я даже не показываю пальцем, право, даже не показываю, не делаю этого, чтобы не испугать вас, я только киваю и устремляю туда взгляд, вот так! И вы отлично понимаете, о какой я розе говорю, но не хотите позволить мне встать на колени, вы боитесь меня и не решаетесь подойти ко мне. Не понимаю, как у вас хватило жестокости назвать меня сумасшедшим. Не правда ли, вы этого вовсе не думаете? Лишь однажды летом, давным-давно, я был безумен, мне приходилось слишком тяжело работать, и я забывал вовремя пообедать, потому что мысли мои были поглощены делом. Это повторялось изо дня в день: мне следовало помнить о еде, но я вечно забывал. Видит бог, это правда! Не сойти мне с этого места, если я лгу. А вы обижаете меня, поймите. Не нужда заставляла меня так работать: я пользуюсь кредитом, большим кредитом у Ингебрета и Гравесена, у меня часто бывало довольно денег, и я все-таки не покупал еды, потому что забывал про нее. Слышите! Вы молчите, не отвечаете, вы не отходите от камина, а просто стоите и ждете, пока я уйду...

Она быстро подошла ко мне и протянула руку. Я с недоверием смотрел на нее. Сделала ли она это от души? Или же только для того, чтобы избавиться от меня? Она обвила руками мою шею, и на глазах у нее выступили слезы. А я стоял и смотрел на нее. Она подставила мне губы, но я не верил ей, это просто была жертва, лишь бы все поскорей кончилось.

Она что-то сказала, и мне послышалось: «А все-таки я люблю вас!» Она сказала это очень тихо и невнятно; может быть, я не расслышал, может быть, она произнесла что-нибудь совсем другое; но она с жаром бросилась мне на шею и даже привстала на цыпочки, чтобы дотянуться, и стояла так чуть ли не целую минуту.

Я боялся, что она просто принудила себя быть со мной ласковой, и сказал только:

– Как вы прекрасны!

Больше я ничего не сказал. Я попятился, наткнулся на дверь и задом вышел из комнаты. А она осталась.

4

Пришла зима, холодная, сырая и почти бесснежная, наступила вечная, туманная ночь, и почти целую неделю не ощущалось даже свежего дуновения ветерка. На улицах целыми днями горели газовые фонари, и все же люди натыкались друг на друга в тумане. Все звуки – звон церковных колоколов, звяканье бубенцов на извозничьих лошадях, людские голоса – раздавались глухо и были словно похоронены в плотном воздухе. Прошла неделя, потом еще одна, а погода стояла все такая же.

Я по-прежнему не менял своего приюта.

Все больше и больше я привязывался к этому жилью, к этим меблированным комнатам для приезжих, где я мог ютиться, несмотря на свою нищету. Деньги у меня давным-давно вышли, но я все-таки продолжал приходить сюда, словно имел на это право, словно стал здесь своим. Хозяйка пока ничего мне не говорила; но меня все равно мучило, что я не могу расплатиться с нею. Так прошли три недели.

Уже несколько дней я снова писал, но то, что получалось, меня не удовлетворяло; я усердно работал, бился с утра до ночи, но без всякого успеха. За что бы я ни принимался, все оказывалось тщетным, – удачи не было.

Я пытался писать в комнате на втором этаже, это была самая лучшая из гостиных. С того первого вечера, когда у меня еще были деньги и я мог платить за все, никто меня там не беспокоил. Я все время надеялся, что мне удастся написать какую-нибудь статью, и тогда смогу уплатить за комнату, а также рассчитаться с прочими долгами; вот почему я работал так усердно. Особенно занимала меня одна уже начатая вещь, от которой я многого ожидал, – иносказательное сочинение о пожаре в книжном магазине; тут была заложена глубокая мысль, которую я хотел обработать как можно тщательней и отдать написанное «Командору» в уплату долга. Пускай «Командор» убедится, что оказал помощь действительно талантливому человеку; у меня не было ни малейшего сомнения, что он убедится в этом. Нужно было только подождать, когда меня осенит вдохновение. А почему бы вдохновению не осенить меня? Почему бы не снизойти ко мне в самом скором времени? Ничто мне не мешало; каждый день хозяйка кормила меня, предлагала мне несколько бутербродов утром и вечером, и я стал гораздо спокойнее. Я больше не обматывал руки тряпками, когда писал, и мог без головокружения смотреть на улицу из окон во втором этаже. Мне было теперь гораздо лучше во всех отношениях, и я начал удивляться, что все еще не кончил свое сочинение. Я не знал, чем это объяснить.

Но вот мне довелось почувствовать, как я слаб, как вяло и бесплодно работает мой мозг. В этот день хозяйка принесла мне какой-то счет и попросила просмотреть его; кажется, этот счет неверен, сказала она, он не сходится с книгами; но она не могла найти ошибку.

Я принялся подсчитывать; хозяйка сидела напротив и смотрела на меня. Я сложил все двадцать цифр, сначала сверху вниз, и нашел сумму верной, потом снизу вверх, и снова пришел к тому же выводу. Я смотрел на хозяйку, она сидела напротив меня и ждала, что я скажу; от меня не укрылось, что она беременна, это не ускользнуло от моего наблюдательного взгляда, хотя я вовсе не старался что-нибудь заметить.

– Все верно, – сказал я.

– Нет, проверьте каждую цифру в отдельности, – попросила она. – Я уверена, что итог слишком велик.

И я стал проверять каждую цифру: 2 хлеба по 25, ламповое стекло – 18, мыло – 20, масло – 32... Не требовалось никаких особых дарований, чтобы проверить эти столбцы чисел, этот счет из мелочной лавки, где не было никаких сложностей, и я добросовестно

пытался отыскать ошибку, о которой говорила хозяйка, но не находил ее. Провозившись несколько минут, я, как на грех, почувствовал, что голова у меня пошла кругом; я уже не отличал приход от расхода, все перепуталось. Наконец я сосредоточился на строчке: 3 5/16 фунта сыру по 16. Мой мозг окончательно отказывался работать, я тупо смотрел на слово «сыр» и не мог сдвинуться с места.

– Черт возьми, как неразборчиво тут написано! – сказал я в отчаянии. – Господи, твоя воля, здесь сказано: пять шестнадцатых фунта сыра. Ха-ха, неслыханное дело! Взгляните сами!

– Да, – согласилась хозяйка. – Они имеют привычку так писать. Это зеленый сыр. Стало быть, все верно! Пять шестнадцатых – это пять долей...

Я снова попытался разобраться в этом счете, который несколько месяцев назад проверил бы в одну минуту; я обливался потом, изо всех сил старался постичь эти загадочные числа и глубокомысленно закрывал глаза, точно вникая в написанное; но ничего не выходило. Проклятый сыр доконал меня; казалось, что-то треснуло в моем мозгу.

Однако я продолжал считать, чтобы произвести впечатление на хозяйку, шевелил губами и время от времени громко называл вслух какое-нибудь число, скользя глазами сверху вниз по счету, точно беспрерывно подвигался вперед и уже заканчивал проверку. Хозяйка сидела и ждала. Наконец я сказал:

– Я проверил все от начала до конца, и, насколько я могу судить, тут, право, нет никакой ошибки.

– Разве? – спросила она. – В самом деле?

Но я отлично видел, что она не верит мне. И вдруг мне показалось, что в ее голосе появился пренебрежительный оттенок, некое безразличие, какого раньше я у нее не замечал. Она сказала, что я, видно, не привык считать на шестнадцатые доли, и добавила, что ей придется попросить проверить счет кого-нибудь еще, кто лучше в этом смыслит. Она сказала все это не в обидной форме, без желанья меня осрамить, но это прозвучало задумчиво и серьезно. Уже с порога она сказала, не взглянув на меня:

– Простите, что помешала вам!

И ушла.

Немного погодя дверь отворилась еще раз, и хозяйка вошла опять; должно быть, она недалеко успела отойти по коридору.

– Вот что! – сказала она. – Вы только не обижайтесь, но с вас кое-что причитается. Ведь вчера, кажется, исполнилось уже три недели, как вы у меня поселились? Да, именно три недели. Не так-то легко перебиться с большой семьей на руках, поэтому я не могу пускать жильцов в кредит...

Я прервал ее.

– Ведь я уже говорил вам, что работаю над статьей, – сказал я. – И как только она будет готова, вы сейчас же получите ваши деньги. Будьте совершенно спокойны.

– Ну, а вдруг вы ее никогда не кончите?

– Вы так полагаете? Вдохновение может осенить меня завтра или даже сегодня ночью. Вполне возможно, что оно осенит меня сегодня ночью, и тогда я закончу статью в какие-нибудь четверть часа. Я работаю не так, как все остальные люди; я не могу писать в день определенное количество страниц, я должен дожидаться своей минуты. И никто не ведает ни дня, ни часа, когда снизойдет вдохновение, это случается само по себе.

Хозяйка ушла. Но ее доверие ко мне, видно, было сильно поколеблено.

Оставшись один, я вскочил и начал рвать на себе волосы от отчаяния. Нет, действительно, спасения нет, спасения нет никакого! Мой мозг не служит мне больше! Разве не стал я совершенным идиотом, если уже не могу высчитать стоимость кусочка сыру? Но если я задаю себе такие вопросы, возможно ли, чтобы я лишился рассудка? Разве я, хоть и был поглощен подсчетами, не заметил с редкостной пронизательностью, что хозяйка была беременна? Ведь я понятия не имел об этом, никто мне ничего не сказал; это осенило меня помимо воли, я увидел это собственными глазами и тотчас все понял, да еще в то отчаянное

мгновение, когда я вычислял шестнадцатые доли. Как же объяснить все это?

Я подошел к окну и поглядел на улицу; окно выходило на Вогнмансгатен. На тротуаре играли дети, дети бедняков на бедняцкой улице; они перебрасывались пустой бутылкой и громко визжали. Мимо медленно проехала повозка с домашним скарбом; видно, какая-то семья, выброшенная на улицу, перебиралась в такое неурочное время на другую квартиру. Я сразу об этом догадался. На повозке громоздились одеяла, подушки и мебель – источенные червями кровати и комоды, красные треногие стулья, рогожи, всякий железный хлам, жестяная посуда. Маленькая девочка, совсем еще крошка, уродливая, с отмороженным носом, сидела на повозке и крепко держалась посиневшими ручонками, чтобы не упасть. Под ней была куча ужасных, сырых матрасов, на которых дома спали дети, и она смотрела на ребятишек, перебрасывавшихся пустой бутылкой...

Я глядел на улицу и легко понимал все происходящее. Стоя у окна, я слышал, как хозяйская стряпуха напевала в кухне, по соседству с моей комнатой; я знал песенку, которую она пела, и прислушивался, не сфальшивит ли она. И я сказал себе, что слабоумный был бы не способен на все это; слава богу, я нормален, как всякий другой.

Вдруг я увидел, что два мальчугана на улице затеяли ссору; одного я знал, это был сын хозяйки. Я открыл окно и стал слушать, что они говорят друг другу, а под окном тотчас собралась толпа детей, они жадно смотрят вверх. Чего они ждут? Какой-нибудь подачки? Сухого цветка, кости, окурка сигары, чего-нибудь, что можно съесть или употребить для игр? Они долго смотрят на мое окно, и лица у них синие от холода... А те двое все ссорятся между собой. Из их детских ртов вылетают бранные слова, непотребные прозвища, матросские ругательства, которым они, верно, выучились в порту. И оба так увлеклись, что совсем не замечают хозяйки, которая прибежала узнать, что случилось.

– Да-а! – жалуется ее сын. – Он меня схватил за горло, чуть не задушил совсем!.. И повернувшись к своему недругу, который злорадно посмеивается, он в ярости кричит: – Убирайся к черту, сучий сын! Всякая гнида станет хватать людей за глотку! Вот я тебе, распротак твою...

А его беременная мать, чей живот едва не перегораживает всю узкую улицу, хватается своего десятилетнего сына за руку и хочет увести его.

– Те! Придержи язык! Не смей ругаться! Лаешься, как будто уже не один год якшаешься со шлюхами! Марш домой!

– Не пойду!

– Нет, пойдешь.

– Не пойду!

Я стою у окна и вижу, как мать приходит в бешенство; эта отвратительная сцена глубоко возмущает меня, я больше не в силах ее терпеть, я кричу мальчику вниз, чтобы он поднялся ко мне на минутку. Я дважды крикнул это, чтобы остановить их, прекратить эту сцену; во второй раз я кричу очень громко, хозяйка смущенно поднимает голову и смотрит на меня. Но она тотчас оправляется от смущения, нагло смотрит на меня, – смотрит с видом нескрываемого превосходства, а потом, сделав сыну замечание, уходит. Она говорит ему громко, чтобы я мог слышать:

– Фу, стыдись, показываешь всяким, какой ты гадкий мальчик!

Глядя на все это, я не упустил ничего, даже малейшей подробности. Моя наблюдательность была очень острой, я чутко воспринимал каждую мелочь и все поочередно обдумывал. Стало быть, рассудок мой не был поврежден. Да и как мог он повредиться?

– Послушай-ка, – сказал я вдруг себе. – Ты достаточно долго тревожился о своем рассудке, а теперь хватит! Разве это признак безумия, когда голова замечает и воспринимает все, до последней мелочи? Да ты просто смешон, смею тебя заверить, ведь это очень забавно. Словом, у всякого бывают заскоки, особенно в простых вещах. Это ничего не значит, это – простая случайность. Говорю тебе, ты смешон. А этот счет, эти разнесчастные пять шестнадцатых вонючего сыра, – ха-ха, сыр с гвоздикой и перцем! – что до этого

смехотворного сыра, то от него вполне можно отупеть, уж один запах этого сыра способен отправить человека на тот свет... – И я хохотал над всем зеленым сыром на свете. – Нет, ты дай мне что-нибудь съедобное! – сказал я. – Дай мне, ежели угодно, пять шестнадцатых свежего сливочного масла! Тогда другое дело!

Я лихорадочно смеялся собственным шуткам и находил их весьма забавными. У меня, право, не было никаких изъязнов, я был совершенно здоров.

Я ходил по комнате, разговаривая сам с собою, и моя веселость все возрастала; я громко смеялся и словно опьянел от радости. В самом деле, казалось, я только и ждал этой короткой радостной минуты, этого мгновения, исполненного странного светлого восторга, чтобы работоспособность вернулась ко мне. Я сел за стол и занялся своим сочинением. Работа продвигалась успешно, гораздо успешнее, чем раньше. Она продвигалась не слишком быстро; но то немногое, что я сделал, казалось мне бесподобным. К тому же я работал целый час без усталости.

И вот я дошел до самого важного места в этом иносказательном сочинении о пожаре в книжном магазине; оно представляется мне столь важным, что все другое, написанное мной, ничто в сравнении с этим местом. Я хотел выразить поистине глубокую мысль, что горели не книги, а мозги, человеческие мозги, хотел устроить из этого настоящую Варфоломеевскую ночь. Как вдруг дверь распахнулась и ворвалась хозяйка. Она быстро вошла прямо в комнату, даже не задержавшись у двери.

Я коротко вскрикнул, точно мне нанесли удар.

– Как? – сказала она. – Мне показалось, будто вы что-то сказали? К нам приехал постоялец, и я намерена отдать ему эту комнату. А вы сегодня переночуете у нас, внизу, но для этого вам надо обзавестись собственной постелью. – И, не слушая меня, она без дальнейших разговоров принялась небрежно сгребать со стола мои бумаги.

Мое радостное настроение сразу исчезло, я вспылал, пришел в отчаяние и тотчас же встал. Я молча предоставил ей убирать бумаги со стола, я не вымолвил ни слова. Она сгребла листки и сунула их мне в руки.

Делать было нечего, пришлось освободить комнату. И драгоценное мгновение было утеряно безвозвратно! Нового постояльца я встретил на лестнице, – это был молодой человек с большим синим якорем, вытатуированным на руке; за ним носильщик тащил на спине сундук. Приезжий, очевидно, был моряк, стало быть, лишь случайный гость на одну ночь; он, конечно, не займет мою комнату на более продолжительное время. Может быть, завтра, когда он уедет, мне снова посчастливится, и вдохновение вернется, хотя бы на пять минут – этого хватит, чтобы закончить работу. А пока нужно покориться судьбе...

До тех пор я не бывал на хозяйской половине, где днем и ночью ютились муж, жена, отец жены и четверо детей. Стряпуха жила на кухне, там она и спала. Я с неохотой подошел к двери и постучал; никакого ответа, хотя внутри слышались голоса.

Когда я вошел, муж не сказал ни слова, даже не ответил на мое приветствие; он лишь безучастно взглянул на меня, точно ему не было до меня никакого дела. Впрочем, он играл в карты с человеком, которого я как-то видел на пристани, с грузчиком по прозвищу «Стекляшка». Грудной младенец что-то лепетал на кровати, а старик, отец хозяйки, сидел на скамеечке, скрючившись и подпирая руками голову, словно у него болела грудь или живот. Он был почти совсем седой и скорчился, словно змея, подстерегающая добычу.

– Не откажите приютить меня на ночь, – сказал я хозяину.

– Это моя жена так распорядилась? – спросил он.

– Да. Мою комнату занял новый постоялец.

На это он ничего не сказал и снова занялся картами.

Изо дня в день он играл здесь в карты с гостями, играл не на деньги, а лишь бы скоротать время, лишь бы чем-нибудь занять руки. Больше он ничего не делал, движения его были ленивы и неохотны, а жена его тем временем сновала вверх и вниз по лестнице, хлопотала по дому и отыскивала постояльцев. У нее было соглашение с рабочими и носильщиками в порту, которые получали известную плату за каждого нового жильца и,

кроме того, часто сами оставались здесь на ночлег. Стеклашка как раз и привел нового постояльца.

Вошли двое детей, две девочки с веснушчатыми, изможденными, как у потаскушек, лицами; на них были совсем рваные платья. Немного погодя вошла и сама хозяйка. Я спросил ее, где она намерена пристроить меня на ночь, и она ответила, что я могу лечь здесь, вместе со всеми, или же в прихожей, на скамье, как мне самому угодно. Говоря это, она ходила по комнате, приводила все в порядок и ни разу не взглянула на меня.

Выслушав ее ответ, я сник, примирился и скромно встал у двери, делая вид, будто мне даже приятно предоставить на одну ночь мою комнату другому; я старался придать своему лицу приятное выражение, чтобы не рассердить ее и не очутиться на улице. Я сказал:

– Ну да как-нибудь устроимся!

И замолчал.

Она продолжала ходить по комнате.

– Впрочем, я должна заметить, что мне никак нельзя сдавать комнаты и кормить людей в кредит, – сказала она, – я это вам уже говорила.

– Да, уважаемая, но мне нужно всего два дня, чтобы окончить статью, – ответил я. – И тогда я с удовольствием уплачу вам лишних пять крон, с огромным удовольствием.

Но я видел, что она совсем в это не верит. А я не мог гордо оскорбиться и покинуть ее дом; я знал, что ждет меня, если я уйду отсюда.

Прошло два дня.

Я по-прежнему ютился вместе с хозяйской семьей, потому что в прихожей, где не было печки, стоял холод; спал я на полу. Приезжий моряк продолжал жить в моей комнате и, по-видимому, не собирался скоро уезжать. К обеду пришла хозяйка и сказала, что он заплатил ей вперед за целый месяц; moreover, он должен до отъезда сдать экзамен на штурмана, поэтому и остановился здесь. Слушая это, я понял, что моя комната потеряна для меня навсегда.

Я вышел в прихожую и сел на скамью; если мне суждено вообще написать что-нибудь, то это возможно только здесь, в тишине. Мое иносказательное сочинение уже не занимало меня больше; в моей голове появилась новая идея, великолепный план: я решил сочинить одноактную пьесу «Знаменье креста», из средневековой жизни. Я уже придумал подходящую героиню – великолепный образ фанатичной блудницы, согрешившей в храме не из слабости или из страсти, а из ненависти к богу, согрешившей у самого алтаря, сунув покров под голову, из дерзновенного презрения к богу. Ха-ха!

Время шло, и этот образ все сильнее завладевал моим воображением. В конце концов она уже стояла перед моими глазами как живая и была как раз такова, как мне требовалось. Тело блудницы должно было иметь отталкивающие изъяны: высокая, очень худая и слегка смуглая, а когда ходит, ее длинные ноги должны просвечивать сквозь юбку. Кроме того, у нее еще должны были быть большие, оттопыренные уши. Одним словом, с виду она невзрачна, отталкивающа. Меня в ней интересовало ее поразительное бесстыдство, отчаянная безоглядность предумышленного греха, который она совершила. Право, она очень занимала меня; мой мозг как бы вздулся от этого странного уродства. И я писал пьесу целых два часа подряд.

Исписав десять или, может быть, двенадцать страниц, часто с большим трудом, с долгими перерывами, перечеркивая и разрывая листы, я почувствовал усталость, я совсем окоченел от холода, встал и вышел на улицу. Кроме всего прочего, последние полчаса хозяйский ребенок плакал без умолку и мешал мне, так что больше я все равно ничего не мог бы написать. Поэтому я решил прогуляться подальше по дороге в сторону Драммена и не возвращаться домой до самого вечера, но, гуляя, я все время думал о своей драме. А во время прогулки со мной случилось вот что.

Я остановился у сапожной мастерской в дальнем конце улицы Карла-Юхана, почти у самой Вокзальной площади. Бог знает почему я остановился именно у этой сапожной

мастерской! Я смотрел в окно, хотя вовсе не думал, что у меня нет сапог; мысли мои были далеко, на другом конце света. Позади меня проходили люди, о чем-то разговаривали, но я не слышал их слов. И вдруг чей-то голос громко произнес.

– Привет!

Это был мой знакомый по прозвищу «Красная девица».

– Привет, – отозвался я рассеянно.

Я не сразу узнал Девицу.

– Ну, как дела? – спросил он.

– Да ничего... все по-прежнему.

– Послушайте, скажите-ка, вы, стало быть, все еще у Кристи?

– У Кристи?

– Помнится, вы как-то говорили, что служите счетоводом у оптовика Кристи?

– Ах да! Но я уже ушел от него. У этого человека невозможно работать, и мы вскоре расстались.

– Но почему же?

– Однажды я сделал неправильную запись, и вот...

– Фальшивую?

Фальшивую! Девица откровенно спрашивал, не совершил ли я подлог. Он спросил это быстро и с явным любопытством. Я смотрел на него, чувствуя себя глубоко оскорбленным, и не отвечал.

– Ах, господи, да ведь это со всяким может случиться! – сказал он, пытаюсь меня утешить.

Он все еще думал, что я совершил подлог.

– Что именно может со всяким случиться? – спросил я. – Вы хотите сказать, что всякий может сделать фальшивую запись? Послушайте, милейший, вы в самом деле думаете, что я способен на такую низость? Это я-то?

– Но, мой дорогой, мне кажется, вы сами ясно сказали...

Я вскинул голову, отвернулся от Девицы и смотрел в сторону. Вдруг я увидел красное платье, женщина в красном платье шла рядом с каким-то мужчиной. Если б я не разговаривал с Девицей, если б я не был уязвлен его низменным подозрением, не вскинул голову, оскорбленный, не отвернулся от него, это красное платье, пожалуй, ускользнуло бы от моего внимания. Какое, в сущности, мне до него дело? Что мне в нем, будь это даже платье самой камер-фрейлины Нагель?

А Девица все говорил, стараясь исправить свою оплошность; я его совсем не слушал, я все время смотрел на красное платье, приближавшееся ко мне. И в груди у меня встрепенулось волнение, словно в нее вонзилась тонкая игла; я прошептал мысленно, не шевеля губами:

– Илаяли!

Теперь и Девица обернулся, увидел проходящих даму и господина, поклонился им и проводил их глазами. Я не поклонился, или, может быть, поклонился, не заметив этого. Красное платье удалялось по улице Карла-Юхана и, наконец, исчезло.

– Кто это с ней? – спросил Девица.

– Герцог, разве вы не видели? Это у него прозвище такое – «Герцог». А ее вы знаете?

– Да, немного. А вы?

– Нет, – отвечал я.

– Мне показалось, что вы ей низко поклонились.

– Поклонился?

– Разве вы не поклонились? – сказал Девица. – Очень странно! Ведь она все время только на вас и смотрела.

– Откуда вы ее знаете? – спросил я.

Он, в сущности, ее не знал. Все случилось как-то осенним вечером. Было уже поздно, трое молодых людей только что вышли из «Гранда», они были навеселе, встретили эту

женщину одну возле Каммермейера и заговорили с ней. Вначале она не хотела разговаривать; но один из весельчаков, которому море было по колено, прямо попросил у нее позволения проводить ее до дому. Он не тронет на ней, как говорится, ни единого волоса, просто доведет ее до подъезда и тогда будет уверен, что она действительно вернулась домой, а иначе ему не будет покоя всю ночь. Они шли, и он говорил без умолку, сыпал всякими небылицами, назвался Вольдемаром Аттердагом, выдал себя за фотографа. В конце концов эти веселые выдумки ее рассмешили, а он несколько не был смущен ее холодностью, и в конце концов она позволила ему себя проводить.

– Ну, а что же было дальше? – спросил я, и у меня перехватило дыхание.

– Дальше? Ах, не будем об этом! Все-таки она женщина.

На мгновение мы оба замолчали.

– Черт возьми, так это Герцог! Вот он, значит, каков! – добавил Девица задумчиво. – Раз она пошла с этим господином, я немного за нее дам.

А я все молчал. Ну, разумеется. Герцог ее завлечет! Вот и прекрасно! Мне-то что за печаль? Я пожелал счастливого пути этой прелестнице, счастливого ей пути! И попытался утешить себя, думая о ней дурно, с наслаждением втоптал ее в грязь. Меня раздражало лишь, что я снял перед этой парочкой шляпу, если только это действительно правда. Зачем мне было снимать шляпу перед такими людьми? А о ней я больше не жалел, несколько не жалел; она уже не была красавицей, подурнела, – черт возьми, до чего же она увяла! Вполне возможно, что она смотрела только на меня; тут нет ничего удивительного; быть может, в ней пробудилось раскаянье. Но только из-за этого я не упаду к ее ногам, не стану приветствовать ее как безумный, в особенности, раз она так подозрительно увяла за последнее время. Пускай Герцог берет ее себе, на здоровье! Может быть, настанет день, когда я гордо пройду мимо нее, даже не взглянув в ее сторону. Может случиться, я позволю себе сделать это даже в том случае, если она станет смотреть на меня в упор и будет в красном платье. Очень даже может случиться! Ха-ха, вот будет торжество! Насколько я себя знаю, я, пожалуй, могу закончить пьесу еще нынче ночью, и дней через восемь эта фрекен будет стоять предо мной на коленях. Со всеми своими прелестями, ха-ха, со всеми прелестями!..

– Прощайте! – сказал я отрывисто.

Но Девица удержал меня. Он спросил:

– А чем же вы заняты теперь?

– Чем занят? Пишу, разумеется. Чем же мне еще заниматься? Ведь я только этим и живу. В настоящее время я работаю над большой драмой – «Знаменье креста», из средневековой жизни.

– Черт побери! – с искренним восхищением сказал Девица. – Да ведь если вы это напишете, тогда...

– Меня это не очень заботит! – ответил я. – Но дней через восемь, надеюсь, вы обо мне услышите.

И я ушел.

Вернувшись домой, я тотчас же обратился к хозяйке и попросил лампу. Мне была очень нужна лампа; я собирался не ложиться в ту ночь, пьеса бушевала у меня в голове, и я твердо рассчитывал написать к утру порядочную часть. Я изложил хозяйке свою просьбу очень смиренно, так как заметил у нее на лице недовольство тем, что я снова вернулся. Я почти кончил свою замечательную пьесу, сказал я, остается дописать всего лишь две сцены. И я намекнул, что пьесу может поставить какой-нибудь театр еще прежде, чем я сам об этом попрошу. И если она окажет мне такое одолжение, тогда я...

Но у хозяйки не было лампы. Она долго думала, но никак не могла вспомнить, чтобы у нее где-нибудь была лампа. Если я готов подождать до двенадцати, тогда, пожалуй, можно будет взять лампу из кухни. А почему я не куплю себе свечи?

Я умолк. У меня не было десяти эре на свечу, и она это отлично знала. Увы, мои планы опять расстроились! Стряпуха сидела с нами, она сидела в комнате, на кухне ее не было,

стало быть, лампы даже не зажигали. Я подумал об этом, но не сказал больше ничего.

Вдруг стряпуха говорит:

– Я, кажись, недавно видала, как вы выходили из дворца? Вы, что же, были на обеде? – И она громко засмеялась над собственной шуткой.

Я сел, достал свои бумаги и хотел попытаться работать, сидя здесь. Я держал бумагу у себя на коленях и пристально смотрел в пол, чтобы не отвлекаться; но это не помогало, ничто не помогало мне, я не мог выжать из себя ни строчки. Вошли две хозяйские девочки и стали шумно играть с кошкой, а кошка эта была на удивление большая и почти без шерсти; когда девочки дули ей в глаза, в них появлялись слезы и стекали по носу. Хозяин и еще двое гостей играли за столом в карты. Только хозяйка, как всегда, занималась делом – она шила. Она отлично видела, что я не могу писать в таком шуме, но совсем уже не считалась со мной; она даже улыбнулась, когда стряпуха спросила, не на обед ли меня пригласили во дворец. Все в доме относились ко мне враждебно; казалось, после того как я вынужден был с позором уступить свою комнату другому, это дало всем в доме право обращаться со мной, как с посторонним. И даже стряпуха, эта маленькая, черноглазая дрянь, у которой был низкий лоб и совсем плоская грудь, насмехалась надо мной по вечерам, когда я брал бутерброды. Она часто спрашивала меня, где я обычно обедаю, что-то она никогда не видела, чтоб я ковырял в зубах, выходя из «Гранда». Было ясно, что она знает о моем бедственном положении, и ей доставляет удовольствие напоминать мне об этом.

Все эти мысли лезут мне в голову, и я не в силах придумать ни одной реплики для своей пьесы. Мои попытки тщетны; у меня начинает гудеть в голове, и я, наконец, вынужден бросить работу. Я кладу листки в карман и поднимаю глаза. Стряпуха сидит прямо передо мной, я смотрю на нее, смотрю на ее узкую спину и покатые плечи, которые еще даже не окрепли как следует. Зачем ей нападать на меня? Пусть бы я вышел даже из дворца, что из этого? Ей-то что за печаль? В последние дни она нагло насмехалась надо мной, когда я спотыкался на лестнице или, зацепившись за гвоздь, разрывал куртку. Не далее как вчера она подобрала мои черновики, которые я выбросил в прихожую, украла эти наброски к моей пьесе и потом читала их в комнате во всеулышание, вышучивая меня и осыпая издевками. Я ни разу не обидел ее и, помнится, ни разу не просил ее оказать мне какую-нибудь услугу. Напротив, по вечерам я сам стелил себе постель на полу, не желая ее утруждать. Она смеялась надо мной еще и потому, что у меня выпадали волосы. По утрам в умывальнике плавали волосы, и это ее смешило. Башмаки у меня прохудились, в особенности тот, что попал под хлебный фургон, она и над этим насмехалась. «Вот так башмаки, прости господи! – говорила она. – Смотрите, каждый что твоя собачья конура!». Да, мои башмаки и в самом деле были изношены; но я не мог покамест обзавестись другими.

Я вспоминаю все это и удивляюсь открытой враждебности со стороны стряпухи, а девочки начинают тем временем дразнить старика, лежащего на кровати. Они прыгали вокруг него и были целиком поглощены этим занятием. Потом они стали щекотать у него в ушах соломинками. Поначалу я не вмешивался. Старик и пальцем не шевельнул, чтобы от них избавиться; он лишь смотрел на своих мучительниц яростным взглядом, когда они его щекотали, да мотал головой, чтобы освободиться от торчавших из ушей соломинок.

Это зрелище становилось для меня невыносимым, но я не мог отвести глаз. Отец иногда поднимал голову от карт, смеялся выходкам девочек и даже обращал на это внимание своих партнеров. Почему старик не пошевелится? Почему не отшвырнет девочек? Я сделал шаг к постели.

– Пусть их! Пусть! У него паралич! – крикнул хозяин.

И я, испугавшись его неудовольствия, боясь оказаться, на ночь глядя, за дверьми, молча вернулся на прежнее место и сидел смирнехонько. Зачем мне рисковать своим ночлегом и бутербродами, вмешиваясь в семейные дразги? Нечего стараться ради этого полумертвого старика. И я почувствовал, что стал тверд, как камень.

Девчонки продолжали доносить старика. Их забавляло, что он не может шевельнуть головой, и они совали ему соломины в глаза, в ноздри. Он смотрел на них с ненавистью, но

не способен был ни вымолвить слово, ни двинуть руками. Вдруг он приподнял все свое туловище и плюнул одной из девочек прямо в лицо; потом приподнялся еще и плюнул в другую, но не попал. Я видел, как хозяин бросил карты и подскочил к кровати. Он весь побагровел и крикнул:

– Как ты смеешь плевать людям в глаза, старый пес!

– Но ведь они же не давали ему покоя! – воскликнул я, потеряв терпение.

Но я все время боялся, как бы меня не выгнали, и крикнул не очень возмущенно; я только дрожал всем телом.

Хозяин обернулся ко мне.

– Хорош гусь! Чего вы суетесь не в свои дела, черт вас возьми? Заткните глотку, слышите? Так-то лучше будет.

Но тут подняла голос хозяйка, и весь дом огласился бранью.

– Да вы все, никак, взбесились! – орала она. – Сидите оба смиренно, а не то вышвырну вон, понятно? Ха, мало того, что я пригрела эту гадину и кормила ее, изволь еще терпеть ад в доме, черт ему рад! Я этого не потерплю, слышите? Цыц! Замолчите, дряни, да вытрите носы, не то я сама примусь за вас. Слыханное ли дело! Заявляются прямо с улицы, без единого эре, даже мазь от вшей купить не на что, да поднимают шум среди ночи, вступают в перекоры. Я этого не допущу, и пускай чужие катятся вон. Чтобы в доме было тихо. Такова моя воля!

Я ничего не ответил, даже рта не раскрыл, только снова сел у двери и слушал крики. Кричали все, даже дети и стряпуха, которая непременно желала объяснить, с чего началась ссора. Если б я молчал, то все бы сразу и кончилось, мне бы только придержать язык, и не дошло бы до крайности. А разве я не придержал язык? Ведь зима была на дворе, и дело шло к ночи. Мог ли я стукнуть кулаком по столу и постоять за себя? Нет уж, без глупостей! Поэтому я сидел смиренно и, хотя мне почти отказали от квартиры, не ушел от хозяев. Я не сводил глаз со стены, где висела олеография с изображением Спасителя, и упорно отмалчивался, невзирая на все выпады хозяйки.

– Если вам угодно избавиться от меня, мадам, то нет ничего проще, – сказал один из игроков.

Он встал. Второй игрок встал тоже.

– Да нет же, речь не о тебе. И не о тебе, – заверила их хозяйка. – Уж ежели на то пошло, я могу сказать, о ком разговор. Ежели на то пошло. Тогда станет ясно, кого это касается...

Она говорила отрывисто, наносила мне удары с короткими паузами и нарочито медлила, давая мне понять, что она разумела меня. «Спокойствие! – сказал я себе. – Только спокойствие!» Она не выгоняла меня, не говорила этого открыто, в ясных словах. Только бы мне не выказать высокомерия, надо поступиться гордостью, сейчас не время! Держи ухо остро!.. А у Христа на олеографии такие странные зеленые волосы... Они очень похожи на зеленую травку, или, выражаясь с изящной точностью, на густую траву поемных лугов. До чего же тонко я это подметил – именно на густую траву поемных лугов... И тотчас в голове у меня одна мысль тянет за собой другую: зеленая трава заставляет меня вспоминать те места в Писании, где говорится, что дни человека, как трава, и вся трава зеленая сгорела, потом я начинаю думать о Судном дне, когда все погибнет в пламени, у меня мелькает мысль о землетрясении в Лиссабоне, и я вижу перед собой латунную испанскую плевательницу и письменный прибор черного дерева, какой был у Илаяли. Ах, все – тлен! Вся трава зеленая сгорела! Удел всего – гроб в четыре доски и саван от йомфру Андерсен, в подворотне направо...

Все это промелькнуло у меня в голове в то отчаянное мгновение, когда хозяйка собиралась выгнать меня за дверь.

– Он даже не слушает! – крикнула она. – Говорю вам, покиньте мой дом, понятно? Накажи меня бог, да этот малый сошел с ума! Убирайтесь на все четыре стороны, вот и весь сказ.

Я посмотрел на дверь, но не с тем, чтобы уйти, вовсе не с тем, чтобы уйти; в голову мне

пришла предезкая мысль; будь в дверях ключ, я повернул бы его, заперся бы здесь вместе со всеми, только бы остаться. Мысль, что сейчас я снова окажусь на улице, приводила меня в ужас. Но в дверях не было ключа, и я встал; надеяться было не на что.

И вдруг сквозь крик хозяйки слышится голос ее мужа. Я останавливаюсь в изумлении. Человек, только что грозивший мне, теперь неожиданно принимает мою сторону. Он говорит:

– Не знаешь разве, что нельзя выгонять людей из дому в ночную пору? Это карается законом.

Я не знал, карается ли это законом, едва ли так могло быть, хотя, конечно, все возможно, но хозяйка сразу опомнилась, утихла и оставила меня в покое. Она даже предложила мне на ужин два бутерброда, но я их не взял, – из благодарности к ее мужу я не взял их, объяснив, что уже поел в городе.

Когда я наконец пошел в прихожую и стал укладываться, хозяйка последовала за мной, остановилась на пороге и громко сказала, застив свет своим чудовищно распухшим животом:

– Но вы ночуете здесь в последний раз, так и знайте.

– Ну что ж! – ответил я.

Завтра мне, пожалуй, удастся найти ночлег, если хорошенько постараться. Где-нибудь да найдется убежище. А покуда я радовался, что не остался без крова сегодня ночью.

Проснулся я в пять или в шесть часов утра. Еще не рассвело, но все равно я тотчас же встал; из-за холода я спал в одежде, и мне не нужно было одеваться. Выпив воды, я тихонько отворил дверь и вышел тихонько, чтобы избежать встречи с хозяйкой.

На улице не было никого, лишь иногда попадался полицейский, который дежурил всю ночь; вскоре появились два фонащика и стали гасить газовые фонари. Я бродил без цели, вышел на Церковную улицу и побрел к крепости. Хотелось спать, я продрог, и я, присев на скамейку, задремал. Три недели я питался бутербродами, которые хозяйка давала мне утром и вечером; теперь вот спина и ноги у меня ныли от долгой ходьбы, очень хотелось есть, уже сутки я ничего не ел, голод снова терзал меня, и нужно было поскорей искать какой-нибудь выход. С этой мыслью я опять задремал, сидя на скамейке...

Меня разбудили чьи-то голоса, я огляделся и увидел, что уже совсем светло и город проснулся. Я встал и пошел прочь. Над холмами всходило солнце, небо приобрело нежный светлый оттенок, погожее утро после стольких хмурых недель вселило в меня радость, я позабыл все свои невзгоды, и теперь мне казалось, что много раз бывало гораздо хуже. Я хлопнул себя по груди и тихонько запел песенку. Мой голос звучал так печально, так слабо, что это растрогало меня до слез. Кроме того, чудесный день, светлое, сияющее небо действовали на меня слишком сильно, и я заплакал навзрыд.

– Что с вами? – спросил какой-то прохожий.

Я поспешил прочь, не отвечая и прикрыв лицо руками.

Я пришел на пристань. С большой барки под русским флагом выгружали уголь; я стал разбирать название: «Копегоро». Долгое время развлекался тем, что наблюдал за этим иностранным судном. Очевидно, оно уже почти разгрузилось, и, несмотря на балласт, шкала на борту показывала уже девять футов над водой, и когда тяжелые сапоги грузчиков стучали по палубе, судно отзывалось протяжным гулом.

Солнце, свет, соленое дыхание моря – вся эта интересная и веселая жизнь возбуждала меня, и кровь бодрей струилась в моих жилах. Вдруг мне пришло в голову, что я, пожалуй, мог бы прямо здесь сочинить несколько сцен для своей пьесы. И я вынул бумажки из кармана.

Я стал придумывать слова, которые хотел вложить в уста монаха, – слова, пылающие яростной нетерпимостью; но мне это не удавалось. Тогда я оставил монаха и стал сочинять речь, с которой судья обращается к осквернительнице храма, написал полстраницы и бросил. Настоящего пафоса не получалось. Люди вокруг меня трудились, гремели лебедки, скрипели ворота, звякали цепи, и все это никак не отвечало мрачной, затхлой атмосфере

средневековья, которой была проникнута моя пьеса. Собрав бумажки, я встал.

Но все же я сдвинулся с мертвой точки и был совершенно уверен, что, если ничего не случится, дело пойдет на лад. Только бы найти какое-нибудь пристанище! При этой мысли я остановился посреди улицы, но не мог вспомнить ни одного спокойного местечка во всем городе, где мне можно было бы пристроиться на время. Не было другого выхода, кроме как вернуться в «Пансионат для приезжих». От одной этой мысли меня начало корчить, я твердил себе, что так не годится, но плелся все вперед, туда, куда путь мне был заказан. Конечно, это презренно, сознавался я себе, это унижительно; но ничто не действовало. Правда, я человек не гордый, я должен прямо сказать, что на свете нет существа смиренней меня. И я продолжал путь.

У двери я остановился и еще раз все взвесил. Будь что будет, надо рискнуть! Разве все это не презренная суета? Во-первых, мне нужен приют всего на несколько часов, а во-вторых, накажи меня бог, если я еще когда-нибудь переступлю порог этого дома. Я вошел во двор. Шагая по неровным булыжникам, я все еще колебался и чуть не повернул назад от самых дверей. Я стиснул зубы. Прочь, неуместная гордость! В худшем случае, я принесу извинения, скажу, что пришел проститься, как того требует вежливость, и условиться, когда я отдам должок за квартиру. Я открыл дверь прихожей.

Войдя, я застыл на месте. Прямо передо мной, в двух шагах, стоял сам хозяин, без шляпы и без куртки, и подглядывал в замочную скважину за тем, что происходило в комнате. Он сделал мне знак рукою, чтоб я стоял тихо, и снова стал подглядывать в замочную скважину. При этом он смеялся.

– Подите сюда! – сказал он шепотом.

Я подошел на цыпочках.

– Смотрите! – сказал он, дрожа от безмолвного смеха. – Загляните-ка туда! Хи-хи! Видите, лежат! Взгляните на старика! Вам видно старика?

В комнате, на кровати, прямо против меня, под олеографией, изображавшей Христа, я увидел двоих – хозяйку и приезжего штурмана; на темном одеяле белели ее ноги. А на кровати у другой стены сидел ее отец, разбитый параличом, и смотрел, опираясь на руки, скорчившись, как всегда, не в силах шевельнуться...

Я повернулся к хозяину. Он с трудом сдерживался, чтобы не расхохотаться. Двумя пальцами он зажимал себе нос.

– Видели старика? – шепнул он. – О господи, видели вы старика? Сидит и смотрит на них! – И он снова нагнулся к замочной скважине.

Я отошел к окну и сел. Это жестокое зрелище совершенно расстроило мои мысли, уничтожило мое вдохновение. Но какое мне дело до всего этого? Если сам муж мирится с этим и даже потешается, то у меня нет ни малейшего основания негодовать. Что же до старика, то о нем нечего беспокоиться. Он, верно, видел это уже не раз; быть может, он попросту спал сидя или даже уже умер, бог его знает. Я ничуть не удивился бы, если б узнал, что он мертв. И моя совесть успокоилась.

Я снова достал рукопись и попытался отогнать все постороннее. Фраза в речи судьи была оборвана на половине: «Так велит мне бог и закон, так велит мне совет мудрых мужей, так велит мне моя совесть...» Я смотрел в окно, придумывая, что же велит ему совесть. Из комнаты донесся негромкий шум. Ну, это меня не касалось, несколько не касалось; а старик, быть может, умер, он умер сегодня в четыре утра; стало быть, мне совершенно безразлично, что там за шум. Но зачем же я, черт возьми, думаю об этом? Спокойствие!

«Так велит мне моя совесть...»

Но все словно были в заговоре против меня. Хозяин, подглядывая в замочную скважину, не мог удержаться, время от времени я слышал его подавленный смех и видел, как он весь трясется; и еще меня отвлекало то, что происходило на улице. По другую ее сторону играет на солнце маленький мальчик; спокойно и беспечно он связывает полоски бумаги. И вдруг он вскакивает с сердитым криком: пяťась, он выходит на середину улицы и глядит на рыжебородого человека, который высунулся из окна во втором этаже и плюнул ему на

голову. Малыш плачет от злобы и беспомощно ругается, а рыжебородый хохочет в окне: так проходит минут пять. Я отворачиваюсь, чтобы не видеть слез мальчика.

«Так велит мне моя совесть...»

Я никак не мог сдвинуться с места. Наконец все начало путаться. Мне казалось, что даже написанное прежде никуда не годится, что весь мой замысел – сплошной вздор. Нельзя говорить о совести в средние века, совесть впервые изобрел учитель танцев Шекспир, следовательно, вся речь судьи неправильна. Стало быть, мои бумажки можно выбросить? Я снова пробежал их, и мои сомнения тотчас же разрешились; я нашел великолепные места, порядочные куски, обладающие исключительными достоинствами. И в моей груди снова всколыхнулось пьянящее желание взяться за дело и кончить пьесу.

Я встал и пошел к двери, не обращая внимания на хозяина, который махал руками, показывая, чтобы я не шумел. Исполненный непоколебимой решимости, я вышел из прихожей, поднялся по лестнице на второй этаж и вошел в свою прежнюю комнату. Ведь штурмана там не было, кто же мог мне помешать побыть здесь немного? Я не трону его вещей, не воспользуюсь даже столом, а просто посижу на стуле у двери, с меня и этого довольно. Я быстро раскладываю бумаги у себя на коленях.

Несколько минут все идет как по маслу. В моей голове одна за другой возникают отделанные в совершенстве фразы, и я пишу не отрываясь. Я заполняю одну страницу за другой, стремительно продвигаюсь вперед, иногда тихонько вскрикиваю, восхищаясь своим порывом, и почти совершенно забываюсь. Я слышу в эти мгновения лишь собственные радостные возгласы. И вот мне приходит в голову счастливая мысль о церковном колоколе, его звон должен прозвучать в одном месте моей пьесы. Все идет Великолепно.

Вдруг я слышу шаги на лестнице. Я дрожу и едва сдерживаюсь, я насторожен, робок, готов ко всему, меня все пугает; мои нервы взвинчены от голода; я взволнованно прислушиваюсь, зажав в руке карандаш, и не могу больше написать ни слова. Дверь открывается; входят двое, которых я недавно видел внизу, в замочную скважину.

Не успеваю я извиниться за свое вторжение, как хозяйка кричит, удивленная, словно с луны свалилась:

– Господи боже ты мой, да он опять здесь!

– Простите! – говорю я и хочу кое-что добавить к этому, но мне не дают продолжать.

– Убирайтесь вон, не то, видит бог, я позову полицию!

Я встал.

– Но ведь я хотел только проститься с вами, – бормочу я. – И мне пришлось подождать. Я ничего не тронул, я просто посидел здесь на стуле...

– Это не беда, – говорит штурман. – Какого дьявола? Оставьте его!

Когда я спустился с лестницы, мною вдруг овладела бешеная ненависть к толстой, отяжелевшей женщине, которая шла за мной по пятам, торопясь меня выпроводить; я застыл на миг в неподвижности, и на языке у меня вертелись самые ужасные ругательства, которые я готов был швырнуть ей в лицо. Но я вовремя опомнился и смолчал, смолчал из простой благодарности к незнакомому человеку, который шел за ней и мог услышать это. Хозяйка наседала на меня сзади и беспрерывно ругалась, отчего ярость моя росла с каждым шагом.

Мы вышли на двор, я шел медленно, все еще колеблясь, стоит ли связываться с хозяйкой. Бешенство душило меня, самые кровожадные мысли лезли в голову, я готов был убить ее на месте, ударить ногой в живот. В воротах я сталкиваюсь с рассыльным, он кланяется мне, но я не отвечаю; он обращается к хозяйке, и я слышу, что он справляется обо мне; но я не оборачиваюсь.

Едва я выхожу за ворота, как рассыльный нагоняет меня, снова кланяется и просит обождать. Он передает мне письмо. Я машинально вскрываю конверт, и оттуда выпадает бумажка в десять крон, но письма никакого нет.

Я смотрю на рассыльного и спрашиваю:

– Что это за шутки? От кого письмо?

– Право, не знаю, – отвечает он. – Какая-то дама велела снести это вам.

Я остолбенел. Рассыльный уходит своей дорогой. Тогда я кладу бумажку обратно, комкаю конверт, поворачиваю назад, подхожу к хозяйке, которая все еще глядит на меня из дверей, и швыряю ей конверт в лицо. Я ничего не говорю, не произношу ни звука, только, обернувшись через плечо, я вижу, как она разворачивает скомканную бумажку...

Вот это – достойное поведение! Никаких разговоров, ни слова этой дряни, преспокойно скомкать крупную ассигнацию и швырнуть в лицо своим врагам. Вот это называется вести себя с достоинством! Поделом им, скотам!..

Когда я вышел на угол Вокзальной площади и Томтегатен, улица вдруг закружилась перед моими глазами, в голове у меня раздался гул, и я, едва не упав, прислонился к стене. Я никак не мог двинуться дальше, не мог даже выпрямиться и оставался скорченный; как я привалился к стене, так и остался, чувствуя, что начинаю терять сознание. Это изнеможение лишь усиливало мою безумную ярость, и я топал ногами. Чего я только не делал, чтобы прийти в себя, – стискивал зубы, морщил лоб, ворочал глазами, и это как будто помогло. Мои мысли прояснились, я понял, что близок к гибели. Я оттолкнулся руками от стены; улица по-прежнему плясала вокруг меня. Я стал всхлипывать от бешенства, изо всех сил боролся с этой напастью, отважно удерживаясь на ногах: я не хотел падать, я хотел умереть стоя. Мимо проезжает повозка. Я вижу, что в повозке картофель, но в бешенстве, из упрямства, я вбиваю себе в голову, что это не картофель, а кочаны капусты, и я с ожесточением клянусь, что это – капуста. Я отлично слышал собственный голос и сознательно продолжал божиться, уверяя, что эта нелепость – истинная правда, ради нелепого удовлетворения от ложной клятвы. Опьяненный этой чудовищной ложью, я поднял три пальца и дрожащими губами клялся во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, что там была капуста.

Время шло. Я плюхнулся на ближайшую приступку, утер пот со лба и шеи, глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. Солнце зашло, день клонился к вечеру. Я снова начал размышлять о своем положении; голод немилосердно мучил меня, а через несколько часов снова настанет ночь; необходимо придумать что-нибудь, пока еще есть время. Мысль моя снова устремилась к меблированным комнатам, откуда меня выгнали; я вовсе не хотел возвращаться туда, но все-таки не мог отогнать эту мысль. В сущности, хозяйка была совершенно права, когда вышвырнула меня. Как могу я ожидать, что мне дадут приют, раз я не платил денег? А ведь меня к тому же еще кормили; даже вчера вечером, когда хозяйка на меня рассердилась, она предложила мне два бутерброда, – предложила по своей доброте, зная, как я в них нуждаюсь. Значит, мне грех жаловаться, и, сидя на приступке, я начал смиренно умолять ее простить мое поведение. В особенности горько я раскаивался в том, что оказался неблагодарным и швырнул деньги ей в лицо...

Десять крон! Я вдруг даже присвистнул. От кого было письмо, которое принес рассыльный? Только в этот миг я сознательно задумался об этом и сразу догадался, в чем дело. Я скорчился от скорби и стыда, хрипло прошептал несколько раз: «Илаяли» и покачал головой. Не сам ли я, не далее как вчера вечером, решил гордо пройти мимо, если встречу ее, и выказать к ней глубочайшее равнодушие? А вместо этого я лишь возбудил в ней жалость и выманил у нее лепту. Нет, нет, нет, мое унижение беспредельно! Даже в ее глазах я не сумел остаться порядочным человеком; я погрузился по колена, по пояс, погряз в позоре и больше уже не в силах был выбраться, нет, никогда! Это предел! Принять десять крон, словно милостыню, и не иметь возможности швырнуть их обратно таинственному благодетелю, вцепиться в деньги обеими руками и не вернуть, уплатить ими за квартиру, невзирая на глубочайшее отвращение!..

Нельзя ли как-нибудь получить эти десять крон обратно? Идти к хозяйке и требовать возвращения денег было бесполезно; надо найти другой выход, стоит только подумать, стоит только сделать над собой усилие. Видит бог, тут мало было просто думать о том, как добыть эти десять крон, тут нужно было думать всем существом. И я принялся за дело всерьез.

Вероятно, было уже около четырех часов, часа через два я мог бы, пожалуй, пойти к директору театра, будь моя пьеса готова. Я вынимаю рукопись и решаю во что бы то ни

стало написать несколько последних сцен; я думаю, потею, перечитываю все сначала, но не подвигаюсь ни на волос. «Довольно глупить, – говорю я себе. – Перестань упрямитесь!» И я принимаюсь сочинять, как попало, записываю все, что приходит в голову, лишь бы поскорей кончить и отделаться. Я пытаюсь внушить себе, что меня вновь осенило вдохновение, я лгу, грубо обманываю себя и пишу дальше, точно мне не нужно подыскивать слов. «Прекрасно! Великолепная находка! – то и дело шепчу я. – Только записывай!»

В конце концов последние фразы начали казаться мне подозрительными; они так резко отличались от первых сцен; кроме того, слова монаха и не пахли средневековьем. Я перегрызаю карандаш, вскакиваю, разрываю рукопись, рву в клочки каждый листок, бросаю шляпу на землю и топчу ее. «Я погиб! – шепчу я про себя. – Милостивые государыни и милостивые государи, я погиб!» Кроме этих слов, я ничего не могу вымолвить и лишь продолжаю топтать свою шляпу.

В нескольких шагах от меня стоит полицейский и следит за мной; он стоит посреди улицы и не спускает с меня глаз. Когда я поднимаю голову, наши глаза встречаются; быть может, он уже давно так стоит и не спускает с меня глаз. Я подбираю свою шляпу, надеваю ее и подхожу к полицейскому.

– Вы не знаете, сколько времени? – спрашиваю я.

Выждав немного, он достает часы и при этом все смотрит на меня.

– Четыре часа, – отвечает он.

– Верно! – говорю я. – Именно четыре, совершенно справедливо. Я вижу, вы свое дело знаете, и буду иметь вас в виду.

И я отошел. Он остолбенел от удивления и, разинув рот, смотрел мне вслед, все еще держа часы в руке. Подходя к «Ройялю», я обернулся и посмотрел назад: он все еще стоял на месте и провожал меня глазами.

Хе-хе, вот так-то надо обращаться со скотами! Без всякой совести! Это внушает скотам уважение, заставляет их трепетать... Я был очень доволен собой и снова принялся напевать. В сильном волнении, совершенно забыв о боли, не испытывая даже никаких неприятных ощущений, исполненный удивительной легкости, я прошел через всю площадь, свернул у рынка к храму Спасителя и сел на скамейку.

В конце концов не все ли равно, верну я эти десять крон или нет! Раз их прислали мне, стало быть, они мои, и совершенно безразлично, от кого эти деньги. Было ведено передать их именно мне, и поэтому пришлось взять; не имело смысла оставлять их рассыльному. И глупо было бы теперь вернуть другие десять крон, совсем не те, что я получил. А если так, тут уж ничего не поделаешь.

Я постарался сосредоточить все свое внимание на людной, оживленной площади и думать о безразличных вещах; но это мне плохо удавалось, десять крон не шли у меня из головы. В конце концов я пришел в ярость и крепко сжал кулаки. «Если бы я отослал деньги назад, это оскорбило бы ее, – сказал я себе. – Так в чем же дело?» Я всегда был крайне надменным, отказывался от подачек, лишь высокомерно качал головой и говорил: «Нет уж, благодарю покорно». И вот к чему это привело: я снова очутился на улице. Я не остался в своем теплом, уютном жилище, хотя имел к этому полнейшую возможность; меня обуяла гордыня, при первом же слове, которое мне не понравилось, я взвился, никому не дал спуска, я расшвыривал бумажки по десять крон направо и налево, а потом ушел, куда глаза глядят... Я сам себя наказал, покинул свое жилище и вот снова попал в тяжкое положение.

Впрочем, к чертям собачьим! Я не просил этих десяти крон, и они недолго были у меня в руках, я тотчас же их отдал, уплатил их совершенно чужим людям, которых никогда больше не увижу. Такой уж я человек, когда надо, отдам все до последнего! И если я не ошибаюсь в Илаяли, она тоже не раскаивается, что послала мне деньги, к чему же тогда весь этот шум? Самое меньшее, что она могла сделать, это время от времени посылать мне десять крон. Ведь бедная девушка влюблена в меня, быть может, даже безнадежно влюблена... Я долго тешился этой мыслью. Не могло быть ни малейшего сомнения, что она влюблена в меня, бедняжка!..

Пять часов. Нервный подъем кончился, голова моя снова как бы опустела, наполнилась гулом. Я смотрел в пространство остановившимся взглядом и видел перед собою аптеку. Голод мучительно терзал меня, и я жестоко страдал. Так я сидел, уставившись в пространство, и мало-помалу перед моим неподвижным взором обозначилась человеческая фигура, наконец она стала совсем четкой, и я узнал, кто это: женщина, которая торговала пирожками у аптеки.

Вздрыгнув, я выпрямляюсь на скамейке и начинаю припоминать. Да, конечно, это та самая женщина, с тем же лотком, она сидит на том же самом месте! Я присвистнул несколько раз, щелкнул пальцами, встал со скамейки и направился к аптеке. Довольно глупостей! Черт возьми, не все ли равно, дал ли я ей деньги, приобретенные несправедливо, или же честные норвежские денежки из конгсбергского серебра! Я не желаю быть посмешищем, а от неумеренной гордости недолго и ноги протянуть...

Я выхожу, на угол, всматриваюсь в женщину, останавливаюсь подле нее. Я улыбаюсь, киваю ей, как знакомой, и заговариваю непринужденно, словно мое возвращение – это нечто само собой разумеющееся.

– Здравствуйте! – говорю я. – Вы, наверно, меня не узнаете?

– Нет, – медленно отвечает она и глядит на меня.

Я улыбаюсь еще старательней, как будто она бог весть как остроумно шутит, притворяясь, что не узнает меня, и говорю:

– Неужели вы не помните, как я недавно дал вам несколько крон? Сколько помнится, я не сказал при этом ни слова, да, ни слова, у меня нет такой привычки. Когда имеешь дело с честными людьми, нет надобности ставить условия и, так сказать, заключать договор из-за всякой мелочи. Хе-хе! Но это я дал вам деньги.

– Да, конечно, это вы! Теперь я вас узнала...

Прежде чем она начала меня благодарить, я уже выбрал глазами лакомый кусок и поспешно говорю:

– А теперь я пришел за пирожками.

Она недоумевает.

– За пирожками, – повторяю я. – Теперь я пришел за пирожками. Я хочу получить хоть часть для начала. Все мне сегодня не требуется.

– Вы пришли за пирожками? – переспрашивает она.

– Ну конечно, за пирожками! – отвечаю я с громким смехом, словно ей сразу должно быть ясно, что я пришел за ними.

Я беру с лотка пирожок или, вернее, булочку, и начинаю есть.

При виде этого торговка выскакивает из своего закутка, невольным движением пытается защитить товар, давая мне понять, что она вовсе не ждала моего возвращения, да еще с целью отобрать у нее пирожки.

– Вы против? – говорю я. – Вы в самом деле против? Право, это смешно! Разве бывало когда-нибудь, чтобы человек дал вам кучу денег и не потребовал их обратно? Нет, вот видите! А вы еще, чего доброго, подумали, что это были краденые деньги, раз я просто сунул их вам? Нет, не подумали? Тем лучше, это просто прекрасно! Вы очень великодушны, если считаете меня за порядочного человека! Ха-ха! Да, вы в самом деле великодушны!

– Но зачем же вы дали мне эти деньги? – с возмущением крикнула она.

Я объяснил, зачем я дал ей деньги, объяснил спокойно и убедительно: у меня есть такая привычка, потому что я доверяю всем людям. Когда кто-нибудь предлагает мне вексель или расписку, я всегда качаю головой и говорю: «Нет, благодарствуйте». Видит бог, я так всегда делаю.

Но торговка никак не понимала меня.

Тогда я попробовал растолковать ей это по-другому, заговорил строго, не шутя. Разве ей никогда не платили вперед, подобно мне? – спросил я. Я разумел, конечно, людей со средствами, например, какого-нибудь консула. Никогда? Ну что ж, раз она не привыкла к такому обхождению, с нее нельзя строго спрашивать. Но так принято за границей. Она,

верно, никогда не ездила в чужие страны? Нет? Ну, то-то же! Тогда ей нельзя и судить... И я взял с лотка несколько пирожков.

Она сердито ворчала, упорно не хотела отдать хотя бы малую толику своего товара, даже вырвала у меня пирожок и положила его на место. Я вскипел, ударил кулаком по лотку и пригрозил позвать полицию. Это еще снисходительность с моей стороны, сказал я, ведь если бы мне вздумалось забрать все, что мне причитается, она была бы разорена, потому что недавно я дал ей огромную сумму денег. Но я не намерен брать так много, я хочу взять лишь половину своего состояния. К тому же она больше меня не увидит. Бог свидетель, не увидит никогда, раз она такая...

Наконец она выбрала несколько пирожков по самой бессовестной цене, четыре или пять штук, за которые она запросила неслыханно много, велела мне взять их и идти своей дорогой. Но я продолжал препираться с ней, доказывал, что она меня обманула по меньшей мере на целую крону и, кроме того, ободрала заживо, назначив такие несуразные цены.

– А знаете ли вы, что подобные штуки караются по закону? – сказал я. – Господи боже, да вы можете угодить на бессрочную каторгу, старая дура!

Она швырнула мне еще один пирожок и со скрежетом зубовным потребовала, чтоб я оставил ее в покое.

И я ушел.

Ну и ну, свет еще не видывал такой двуличной торговки! Я шел через площадь, ел пирожки и громко рассуждал об этой женщине и ее бесстыдстве, повторял весь наш разговор и думал, что я гораздо лучше ее. Я ел пирожки на виду у всех и громко разговаривал.

Пирожки исчезали один за другим; сколько я ни ел, мне все казалось мало, голод был неутолим. Господи, почему мне все мало! В своей жадности я чуть не съел последний пирожок, который с самого начала решил приберечь для мальчика с Вогнмансгатен, для того малыша, которому рыжебородый плюнул на голову. Я то и дело вспоминал о нем, не мог забыть, какое у него было лицо, когда он вскочил, и заплакал, и стал ругаться. Когда на него плюнули, он повернулся к моему окну поглядеть, не смеюсь ли я над ним. Бог весть, удастся ли мне его теперь найти! Я спешил добраться до Вогнмансгатен, миновал место, где изорвал свою пьесу и где еще валялись клочки бумаги, обошел стороной полицейского, которого удивил своим поведением, и наконец очутился у той двери, где утром сидел мальчик.

Его не было. Улица почти опустела. Уже смеркалось, и мальчика найти не удалось; наверное, он ушел домой. Я бережно положил пирожок на землю, у самого порога, громко постучал и тотчас же пустился бежать. «Он, конечно, найдет пирожок! – сказал я самому себе. – Как только выйдет из дому, так сразу и найдет!» И от радости, что малыш найдет пирожок, слезы выступили у меня на глазах.

Я снова вышел к пристани.

Теперь я уже не был голоден, но от сладких пирожков меня начало тошнить. В голове снова металась самая нелепая мысль: а что, если я незаметно перережу канаты, которыми пришвартованы все эти корабли? Что, если я вдруг закричу: «Пожар»? Я пошел дальше по пристани, отыскал ящик, сел, скрестил руки на груди и почувствовал, что путаница в моей голове усиливается. Я сижу неподвижно, боюсь пошевелиться, чтобы не пойти ко дну.

Я смотрю на «Копегоро», барку под русским флагом. Я вижу у поручней какого-то человека; красные фонари с левого борта освещают его лицо, я встаю и заговариваю с ним. Собственно, я не собирался затевать с ним разговор и не ждал никакого ответа. Я сказал:

– Вы отплываете нынче вечером, капитан?

– Да, в самое ближайшее время, – ответил он.

Он говорил по-шведски.

«Стало быть, это финн», – думаю я.

– Гм! А не нужен ли вам матрос?

В этот миг мне было безразлично, ответит ли он отказом или согласием, его ответ не имел никакого значения для меня. Я смотрел на него и ждал.

– Нет уж, – ответил он. – Вот юнгу я взял бы, пожалуй.

Юнгу! Я вздрогнул, незаметно снял очки, спрятал их в карман и поднялся по трапу на палубу.

– Мне не приходилось плавать, но я могу делать все, что велите, – сказал я. – Куда вы поплывете?

– Сперва в Лидс, там возьмем уголь и пойдем в Кадикс.

– Ладно, – сказал я и стал уговаривать его взять меня. – Мне все равно, куда плыть. Я буду хорошо работать.

Некоторое время он рассматривал меня, что-то соображая.

– Так ты еще не бывал в плавании? – спросил он.

– Нет. Но, говорю вам, дайте мне работу, и я все сделаю. Я человек привычный.

Он снова задумался. А я уже свыкся с мыслью о плавании и боялся, что меня прогонят.

– Так как же, капитан? – спросил я наконец. – Поверьте, я готов делать любую работу. Да что говорить! Я буду последним негодяем, если не вылезу из кожи, чтобы вам угодить. Я готов, если надо, стоять по две вахты подряд. Мне это только на пользу, я такие вещи люблю.

– Ну что ж, попробуем, – сказал он, слегка улыбнувшись при моих последних словах. – А в случае чего, в Англии можно будет и расстаться.

– Разумеется! – отвечал я с восторгом. И повторил вслед за ним, что, в случае чего, в Англии мы можем расстаться.

И он дал мне работу...

Когда мы вышли во фьорд, я разогнул спину, весь взмокший от слабости и волнений, взгляделся в берег и простился наконец с городом Христианией, где в окнах повсюду уже зажглись яркие огни.